

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ



## НЕОБЪЯСНИМЫЕ ПРАВИЛА СМЕРТИ

РОМАН\*

*Всё, рассказанное здесь, —  
сухая правда, но она  
не имеет никакого отношения  
к действительности*

Часть первая

### НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА

Говорят, нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка.

Возможно. Лично я не пробовал.

Зато я любил в детстве перебегать дорогу перед носом мчавшегося автомобиля. Но частенько за мгновение до этого я абсолютно чётко представлял, что машина будет раньше в гипотетической точке пересечения наших маршрутов. Но я почему-то отбрасывал этот точный прогноз и делал заячий скачок на проезжую часть. Затем я делал другой — обратно. Перед этим мы отчаянно тормозили — я и автомобиль. Машина шла юзом, а я препротивно

---

*ВОРОНЦОВ Андрей Венедиктович родился в 1961 году в Подмосковье. Окончил медицинское училище, работал фельдшером на “Скорой помощи”, одновременно учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Автор романов “Огонь в степи” (“Шолохов”) и “Тайный коридор”. Член Союза писателей России*

---

\* Журнальный вариант.

(а со стороны, наверное, презабавно) извивался на кромке шоссе в отчаянной попытке обрести равновесие. Потрясённый, внимая громовой матерщине водителя, я ощущал себя героем, который спас свою собственную жизнь. Однако я мог бы этого не делать, послушавшись первого сигнала мозга. Но я почему-то всегда слушаю второго.

Всё, чего я в жизни добиваюсь, происходит вопреки здравому смыслу и носит случайный, неестественный характер.

Но чаще всего я ничего не добиваюсь.

В сентябре 1991 года, потрясённый развалом Советского Союза, я, в прошлом злостный неплательщик комсомольских взносов, по идейным соображениям пошёл работать заведующим литературным отделом в журнал под названием “Советский Союз”. Надо сказать, что прежде этот самый “Советский Союз” был недоступной синекурой, в коей доживали до пенсии выпавшие из номенклатурных обойм тузы (например, зять опального Хрущёва Аджубей). В былые времена, когда журнал возглавлял секретарь Союза писателей Грибачев, меня, беспартийного молодого литератора, ни за что бы туда не пригласили. Но времена изменились, и требовались новые люди.

Правда, вскоре выяснилось, что вовсе они и не требовались.

Таких, как я, “оригиналов” в журнале незадолго до спуска флага СССР пришло с дожиною — во главе с новым главным редактором Александром Николаевичем Мишариным, некогда написавшим вместе с режиссёром Тарковским сценарий фильма “Зеркало”. Его и увидеть можно в этом фильме, в сцене, когда вдоль кровати заболевшего героя расхаживает плотный дядя в белом халате, с холёной бородкой, и изрекает что-то фрейдистское.

Примерно такова была роль Александра Николаевича и у овра журнала, ставшего с 1 января 1992 года “бесхозным”: он барственно и солидно, правда, не всегда понятно рассуждал, перебирая чётки, о причинах кризиса издания, а мы ему внимали, как будто не знали причины всех тогдашних кризисов. Зарплату нам после 1 января не платили по несколько месяцев, журнал сначала выходил по инерции, потом заглох, и мы, тоже по инерции, сдавали материалы в несуществующие номера. Да мы и сами казались себе тогда несуществующими людьми.

Однако постепенно журнал (он уже назывался “Новая Россия”) с помощью спонсоров как-то выкарабкался из кризиса. Он выходил теперь ежеквартально и продавался в основном за границей. Так было и с “Советским Союзом”, но его печатали на четырнадцати языках мира, а “Новую Россию” — только на русском. Кто ж её покупал? Наверное, наши бывшие соотечественники, прихварывающие ностальгией. Все мы, оставшиеся в журнале, считали себя патриотами, но работали, похоже, для тех, кто в России жить не хотел или покинул её в погоне за длинным долларом. В сущности, мы делали журнал о жизни бедной резервации для разбогатевших индейцев, живущих в городе.

А ведь в сентябре девяносто первого я отлично понимал, что иду работать в издание, которое через несколько месяцев перестанет существовать, потому что уже дышало на ладан государство с этим же названием.

Почему же я это сделал, застряв на полтора десятка лет в так называемой “Новой России”, которая существовала и не существовала одновременно?

Потому что это моё привычное состояние. Да и многих миллионов русских после 1991 года.

\* \* \*

Я, советский человек, который в советское время не ощущал себя советским, а в нынешней России не ощущаю себя русским. А что такое “россиянин”, я и вовсе не понимаю.

Порой какие-то смутные советские инстинкты пробуждаются во мне, — например, когда я попадаю в заповедники сталинской архитектуры. Однажды, летом 2005 года, чудесным вечером мы с приятелем вышли из метро на станции “Речной вокзал”. Мы оказались в просторном зелёном парке, укра-

шенном гипсовыми изваяниями спортсменов в целомудренных, с резинками выше пупков трусах. Прямая, как стрела, аллея заканчивалась увенчанным звездой, наподобие кремлёвской, шпилем Северного речного вокзала — огромного, с циклопической смотровой площадкой и полукруглыми колоннадами в торцах здания, где помещались два недействующих фонтана. По фронтону здания, выполненного в форме двухпалубного парохода, шла надпись: “1933 Москва—Волга 1937”.

У столь же гигантского, километра в полтора, причала тесно стояли белые многопалубные теплоходы с такими названиями, словно это были новые станции покинутой нами Замоскворецкой ветки метро с её “Маяковской” и “Войковской”: “Николай Чернышевский”, “Дмитрий Писарев”, “Леонид Соболев”, “Константин Симонов”... Бывало, плыл такой “Чернышевский” по каналу имени Москвы, где с одной стороны была огромная статуя Ленина, а с другой — Сталина, а потом по великой эпичной реке, мимо городов Горький, Куйбышев и Ульяновск, направляясь в город Сталинград... А если бы он двинулся в противоположную сторону, то приплыл бы в город Ленинград. Симметрия! Геометрия! Империя!

Мы шли с приятелем-художником по блистающему корабельному коридору первого класса, который он когда-то украшал, дабы снискать хлеб насущный. Колер для стен подбирал, диванчики расставлял на площадках, малевал на переборках указатели с игривыми перстами: “WC” или “00” — мужской профиль, женский... В баре, на стенах коего предшественник моего приятеля изобразил в процессе труда и отдыха потомков скульптурных спортсменов из парка (юбки у девушек выше колен, хотя и не мини, парни в клешах, хотя и не по 40 сантиметров), — сидели сплошь пожилые французы. Жизнь прожита, почему бы не рискнуть прокатиться вниз по матушке по Волге? Русских пассажиров почти не было: большинству теперь такой круиз не по карману, а тому меньшинству, что доблестно “куёт бабки”, не до Волги “однозначно”. Что же это — у нас теперь планида такая? Мы в “Новой России” работаем на заграницу, и речные моряки, оказывается, тоже?

На эстраде старательно, но без особого энтузиазма лабал что-то жиденький ансамбль — энтузиазма не было, вероятно потому, что “френчи” не давали чаевых. Выходила и визгливо пела “хиты” десятилетней давности декольтированная худая певица в чёрном, подносившая микрофон ко рту горизонтально, а ля Виктор Цой. Немного подавшие “френчи” чинно вальсировали или просто топтались на месте — за недостатком женщин, нередко мужчина с мужчиной, как это принято у них, лягушатников. Я смотрел на все это, и мне показалась ошибочной идея моего приятеля купить у художника-армянина, державшего в Москве забегаловку, картину с изображением лежащей голой женщины в стиле Тома Вессельмана и повесить её в кают-компания лайнера или здесь, в баре. Для этого, пожалуй, нужен другой теплоход... Другая публика.

Мы как бы находились в мире, который линейно не изменился, но опустел, будто из него извлекли содержание. Пусто было в аллеях парка с гипсовыми дискоболами и пловчихами, на просторнейшей набережной под сенью деревьев, куда, казалось бы, так соблазнительно было прийти после знойного дня, ни души в Речном вокзале, на палубах кораблей...

Наконец, появились люди, познакомиться с которыми и хотел меня мой приятель. Это были то ли хозяева теплохода, то ли организаторы волжского тура — а может, и то, и другое вместе. Семья — отец, мать и два сына. Рабочий день их только закончился. Был поздний вечер, а они ещё не обедали. Они словно бы представляли собой живую картину к рекламному проспекту “Единой России”: дерзайте, вкальвайте, и дано будет вам. Ужинала эта семейная фирма с таким же завидным аппетитом, как и персонажи рекламного ролика плавленого сыра “Президент”. Пустой, ярко освещённый ресторан, зеркала во всю стену, суетящиеся молоденькие официанты из Ярославля, очень дорожащие своей работой... Всё чинно, пристойно — капитализм в действии. Не скрою, мелькнула тогда у меня мысль, что мы и впрямь ленивы и нелюбопытны, а потому нерасторопны и непредприимчивы: уж десять с лишним лет скулим по прошлому и не делаем ничего для будущего.

Но она мелькнула и исчезла, как исчезли наклейки фирмы “Довгань” с продуктов, которые г-н Довгань не производил.

Я вспомнил, как несколько лет назад в здании “Новой России” разместилось на третьем и четвёртом этажах московское отделение американской фирмы “Эшл компьютер”, выпускающей знаменитые компьютеры “Макинтош” и программы к ним. У них ещё есть фирменная особенность: открываешь ящик с агрегатом — и разносится в помещении запах яблок. “Яблочники”, конечно, сразу сделали у себя евроремонт, и белизна их стен так выгодно контрастировала с обшарпанным великолепием остального помещения. А уж их и нашу оргтехнику нечего было и сравнивать. У них в коридорчике, рядом с моим кабинетом, стоял маленький белый ксерокс, копировавший с отменной скоростью. А у нас этажом ниже была бандура первого поколения размером с письменный стол, ломавшаяся на третьей копии. Представляю, что думали о бывшем титульном журнале государства американцы... Мне, впрочем, до лампочки было, что они думали, ибо невзлюбил я их сразу: несмотря на все их приамбасы, телефонные сети они с собой не привезли, и на них переключили половину наших номеров. Мой телефон, к примеру, был запараллелен с телефоном компьютерного класса этажом выше. Болтали “макинтоши” по нему постоянно, и я, помучавшись, отбросил ложные представления о русском гостеприимстве и стал просто приказывать повесить трубку. Они, надо сказать, такой тон понимали и сразу подчинялись. Приказывает человек, значит, имеет право.

Но жить долго под одной крышей (одни в тёмном прошлом, другие — в светлом будущем) нам не пришлось. Евроремонт — не капитальный ремонт, а старинное здание “Советского Союза” было в аварийном состоянии. Его сначала заливали водой из лопавшихся труб, а потом, очевидно, какой-то божж неудачно развёл костёрчик на чердаке. Начался пожар. “Яблочников” он не коснулся, но когда я пришёл тем злосчастливым утром на работу, всё пространство от бывшего театра Корша до редакции было заставлено их хромированной офисной мебелью. Наши ещё не вынесли ни одного стула. Поднявшись в свой залитый водой кабинет, я увидел в окно, что мебель уже грузят в крытый грузовик. Когда выглянул следующий раз, Петровский переулок был чист. Через пять минут раздался телефонный звонок (последний перед тем, как линия надолго замолчала): дама из компьютерного класса спрашивала, куда делась её коллеги. Бог весть! Больше никогда я их не видел — они уехали быстро и навсегда. А мы остались, потому что ехать нам было некуда. Такая вот получилась “Новая Россия” вместо “Советского Союза” — полусгоревшая, с дырявой крышей, залитая водой...

\* \* \*

Мы сидели с приятелем на верхней палубе теплохода и пили пиво. Солнце садилось за Химкинское водохранилище, бросая на его свинцовые мутные воды парчовые блики. Откуда-то снизу веяло запахом дизельного мазута. Этот запах тревожил, напоминал о никчёмности оседлой жизни. По широкой и почти пустынной набережной двое подростков катались на роликовых коньках. Одинокая мама с коляской пересекала по диагонали площадь у Речного вокзала. Его циклопические, геометрически чёткие сооружения словно сошли с картин Рене Магритта, где есть архитектура и ландшафт, но нет людей. Этот мир томил меня. У безжалостного Магритта всё же обязательно открыто окошечко из изображенного мира в какой-то другой, неизведанный, что позволяет мириться с безжизненностью и безнадежной правильностью пейзажа. А в панораме, которую я обзирал с верхней палубы, не было ни окошечка, ни форточки, ни даже щёлочки в другой мир. Но в то же время, несмотря грузную на монументальность, мир под названием Речной вокзал представлялся прозрачным и иллюзорным. За несколько часов, что мы пробыли здесь, от пресловутого порта семи морей не отчалил ни один корабль. Краны грузового порта, странно напоминавшие виселицы, были неподвижны. Лишь один раз, полчаса назад, эту декорацию величиной с обзиримый

горизонт оживил одинокий буксир. Он протарахтел мимо нас и исчез, как исчезают круги от брошенного в воду камня. И если бы не волнующий запах мазута да лёгкое подрагиванье палубы под ногами от запущенных для прогрева двигателей, я бы подумал, что нахожусь в огромном музее речного судоходства сталинских времён. Впрочем, вся тогдашняя жизнь представлялась мне посещением музея коммунизма, который сняли с финансирования.

В домах на противоположном берегу в совершенно непредсказуемой последовательности загорались огни. Фигуры, образуемые жёлтыми квадратами, напоминали пасьянс, выложенный рукою сумасшедшего. Или графическое изображение шахматной партии, в которой игроки ходят, плюнув на правила. Потемневшее небо тускло отсвечивало чем-то железным, а плоские, вытянутые облака будто вылетели из труб корабля, который мимо нас так и не проплыл. О, как я не люблю эти московские закаты над “высотками”! Одна лишь мысль приходит мне вечером при взгляде на эти дома — скоро катастрофа. Их вульгарное прямоугольное убожество на фоне раскинувшейся над ними, грозно темнеющей бездны наполняет почему-то моё сердце тревогой и страхом. Мне никак не удавалось сопоставить их — дома и небо, точно так же, как не мог я сопоставить легкомысленный, шаткий пластиковый столик, на котором стояли наши бутылки с пивом, и подрагивающую под нами громаду теплохода.

— Я специально привёл тебя сюда, чтобы ты отдохнул, — сказал Станислав Владимирович Попов, мой приятель, художник.

Он имел внешность государя Николая II, пережившего свой расстрел лет, скажем, на десять, добродушное пузо и устойчивые привычки московского сибарита. К запоям, например, он относился чрезвычайно серьёзно — исчезал из жизни не менее чем на месяц. Если же какие-то обстоятельства мешали ему уложиться в излюбленный срок, — дальнейшее напоминало прерванную беременность у женщины: Попов становился капризен, мрачен, несдержан. Между нами было что-то общее, позволившее нам сойтись, хотя Попов, в отличие от меня, был предприимчив, мастеровит и рукаст. В годы “перестройки” он был чуть ли не первым художником-полиграфистом, освоившим коммерческую рекламу. Столь удачно и своевременно стартовав в рыночной жизни, он бы мог иметь сейчас солидное состояние. Но, как всякий истинно русский человек и к тому же натура художественная, он с трудом переносил монотонность процесса добывания денег. Чтобы оставаться в мире рекламы, ему требовалась периодическая перезагрузка в виде запоев. Но более-менее успешно совмещать работу и запой можно было только в горбачёвское время, когда реклама для газет и журналов ещё была лишь подспорьем. А в ельцинское время, когда она стала главным источником существования, подолгу пропадаящий художник по рекламе, пусть и высокоталантливый, на большие заработки и даже на место в штате рассчитывать не мог. Вот и перебивался Попов работой по договорам — в том числе и на этом теплоходе. Я тоже подрабатывал, помимо “Новой России”, в других изданиях, вот в одном из них судьба и свела нас.

— Нравится тебе здесь? — поинтересовался Станислав Владимирович.

— Здорово, — кивнул я, хотя на самом деле я предпочёл бы поглядеть на живой пассажирский порт, какой я видел когда-то в Архангельске, в Севастополе, но не хотелось обижать Попова (а он был обидчив).

— Другого такого места в Москве не найдёшь. Ну, я пойду к хозяевам, договорюсь насчёт ужина.

Он ушёл, а я всё сидел и думал, что хорошо бы под каким-то приличным предлогом смотаться отсюда, где мне было так же невесело, как и в моей обычной жизни, но подходящего предлога не находил. Вдобавок я чувствовал, что Попов чего-то не договаривает: не только же для того он притащил меня на Речной вокзал, чтобы попить пива на палубе и поужинать с хозяевами? Мы с Поповым и ещё с другим художником, Толей Семёновым (из “Новой России”), прекрасным образом “отдыхали” после работы в армянском кабаке на Большой Лубянке, где жена хозяйина (кажется, “подсевшая на иглу”) пела нам под караоке и даже танцевала. Конечно, наши посиделки трудно было назвать солидным словом “ужин”, но и чебуреки из микро-

волновки под водку с томатным соком хороши, если заранее не тяготит общество незнакомых людей, на которое меня обрекал своим приглашением Попов. Но я знал, что, когда у него всё складывалось и он был в хорошем настроении, то любил делать друзьям приятные сюрпризы, — очевидно, и сейчас готовил что-то помимо обещанного ужина.

Прошло минут двадцать. Попова всё не было. Палуба подо мной стала дрожать сильнее — так, что уже бутылки и бокалы позвякивали. Глянув за борт, я увидел: внизу убирали сходни — они были прямо подо мной. Потом на носу что-то загремело: мне показалось, что звук напоминает поднимаемую лебёдкой якорную цепь. “Отплываем, что ли?” — усмехнулся я, и в тот же момент теплоход загудел, декорация Речного порта а la Рене Магрит как-то криво сдвинулась, я ощутил на лице ветерок, набережная плавно ушла вбок и назад, и мы медленно, но верно поплыли в сторону канала Москва—Волга.

\* \* \*

В первую минуту я подумал, что это и есть предполагаемый сюрприз господина Попова, решившего прокатить меня, скажем, до Икши, откуда мне придётся возвращаться домой на электричке. Но я ошибся. Теплоход просто отгоняли на ночную стоянку в километре от прежней (значит, какая-то жизнь в порту всё же была), о чём, вероятно, не знал и сам Попов.

Сюрприз он приготовил мне другой. За ужином в пустом ресторане хозяйева предложили мне (по совету, естественно, Станислава) написать рекламный проспект их круиза, а также разработать программу развлечения туристов непосредственно на теплоходе. (Последнее было весьма актуально, судя по тем “развлечениям”, что мы видели в баре и кают-компанин.) Если бы я счёл необходимым для уточнения всех деталей работы отправиться с теплоходом в плавание, то это можно было бы осуществить прямо завтра или через месяц, в следующем туре. Конечно, я бы получил отдельную каюту и полное довольствие, но по нормам команды, а не пассажиров. Это было, в общем, справедливо, как справедливо было и само предложение изучить ситуацию, что называется, на месте, потому что, в принципе, я мог написать рекламу чего угодно, мог и сочинить программу развлечений, которых никогда не видел, но опыт мне говорил: если есть возможность посмотреть то, что ты описываешь, её, безусловно, надо использовать. Да и плохо ли было “на халяву” прокатиться от Москвы до Астрахани? Забракуют, допустим, хозяйева мой проспект и программу, так я хоть удовольствие от путешествия получу. Срываться с места завтра я, разумеется, не стану, а вот в следующем месяце — пожалуйста. За это время я набросаю кое-что вчерне, а уже на теплоходе проверю свои измышления в деле. Я даже ощущал удовлетворение от того, как это всё с помощью доброго Станислава устроилось, без привычных для меня жизненных прыжков вперёд-назад.

Возвращаясь домой под хмельком, я размышлял: теплоход, Волга, отдельная каюта, какие-то, может быть, девушки... Ну, пусть не девушки, а интересные женщины. Не одни же иностранные старухи путешествуют! Когда я сидел на палубе, то видел, что к сходням подкатила на шикарном джипе какая-то молодая “новорусская” семья. Ездят, наверное, и молодые незамужние женщины. Или замужние, но без мужей. Как в рассказе Бунина “Солнечный удар”. Сейчас многие богатые пожилые мужики, женившись на молоденьких секретаршах или просто лярвах каких-нибудь, подцепленных в поганых заведениях под названием “ночной клуб”, быстро понимают, что безнадежно проигрывают им состязание в сексе, и начинают устраивать жёнушкам какую-нибудь общественно-полезную деятельность или досуг, чтобы они, так сказать, не донимали их в плане “интима”. Отправляют их, в частности, и в путешествия, допуская “по умолчанию”, что в пресловутую программу развлечений входят и молодые самцы. “Так и напишу в своей программе отдельным пунктом: “Молодые самцы”, — сострил я и погрузился.

Сам-то я был не очень молод. И вовсе не красавчик. Я костлявый бело-брысый мужчина, похожий на чухонца. У меня и фамилия чухонская — Ко-

льванов. Это, наверное, оттого, что далёкие предки мои проживали в древнерусской Кольвани, как тогда назывался город Таллин. Или — Таллинн, не знаю уж, как теперь правильно. Может быть, Таллининн. Наверное, им кажется, что, чем больше букв, тем солиднее. Чем мизерней, к примеру, латиноамериканская страна, тем больше тульи и козырьки фуражек у офицеров её армии.

Кстати, когда я бывал в Прибалтике, ещё в советское время, аборигены непринуждённо подходили ко мне и допотопили по-своему, прося, например, закурить. Поскольку человек, что русский, что чухонец, делает при этом характерный жест двумя пальцами у губ, отвечать не было нужды. Но одному я дал ещё и прикурить от огонька своей сигареты, по-московски, поленившись лезть за спичками. Тот сразу изменился в лице и, злобно шния, отошел, сигареты мне, впрочем, не отдав. Оказывается, у прибалтов, как и у наших уголовников, такой вид прикуривания считается оскорблением, они в нём видят что-то вроде приглашения к оральному сексу.

А вот в Паланге смазливая девчонка на раздаче в столовой, игриво улыбаясь, спросила меня что-то по-литовски, — очевидно, чего я желаю. Я сказал: “Драники и котлеты”, а она сделала кислую мину, типа “ходят тут всякие”, и невежливо шмякнула тарелки на стойку. Через несколько дней мы с приятелем от нечего делать пошли на местную дискотеку, и я её там увидел. Она сидела вместе с другими девушками на длинной скамейке. Их никто не приглашал, да, собственно, и приглашать было не на что, потому что диск-жокей гонял только быструю музыку, под которую местные парни убийного вида выламывались в центре площадки. Девушкам в Паланге, видимо, танцевать такие танцы считалось неприлично. А вот если бы они приехали в Вильнюс или Клайпеду, то там, наоборот, было бы неприлично так сидеть: подумали бы, что из деревни. Мы были податые, и я подошёл к диджею, сделал руки крестом и сказал: “Давай блюз!”. Он уступил моим настояниям только с третьего или четвёртого раза, а до этого показывал какую-то тетрадку и заявлял, что порядок песен утверждён управлением культуры. Среди утверждённых местными коммунистами песен были композиции “Слейд”, “Дип Пёрпл”, “Квин” и мрачной группы с сатанинским названием “Блэк Сэббэт”. Наконец он пустил “медленный танец”. Сначала я хотел пригласить девушку из столовой, но вспомнил её неприветливую гримасу в ответ на мою русскую речь и подошёл к длинноногой и длинноносой девице, что сидела с краю скамьи, но она с неподдельным испугом замотала головой. Точно таким же образом мне отказала вторая и третья. Четвёртой была моя раздатчица, которую я пригласил скорее по инерции и из приличия. К моему удивлению, она сразу встала и взяла меня за руку, не без вызова покосившись на подруг (тех, что я не приглашал). Во время танца она тесно (я бы сказал, даже слишком тесно) прижалась ко мне, глядя куда-то в сторону своими бесцветными, как стекло, остзейскими очами. Тут же, как по команде, крижистые литовские парни разобрали других девчонок. Диджей, видя такое дело (а может быть, он был человеком ортодоксальных решений), стал пускать преимущественно медленные танцы. Я раз за разом приглашал свою раздатчицу с рельефными, но твёрдыми и упругими, как хорошо надутая резиновая игрушка, формами. Не помню, чтобы мы разговаривали, да и говорить нам, в общем, было не о чем. Понимал я только, что я ей чем-то понравился, если она рискнула бросить вызов общественному мнению захолустной Паланги, на виду у всех постоянно танцующа с русским. Наверное, крепкие литовские парни не баловали её вниманием. А может быть, ещё тогда, в столовой, когда заговорила со мной по-литовски, она как-то почувствовала моё “кольванское” происхождение. Вдруг посреди танца она сказала мне: “Уходи-и быстро-быстро, тебя-а скорро-скорро будут би-ить”. “Почему? — удивился я. — Разве я отбивал тебя у кого-нибудь? Ведь парни не обращали на вас никакого внимания!” — “Ты положил мне руку на по-опу”. Надо сказать, что я это сделал чисто машинально, как Шура Балаганов. “Ну и что?” — “У нас за эта-а бьют, если ты не мой паррень”. Но я уходить не стал и, видимо, напрасно. Масла в огонь добавил мой приятель, которому так и не удалось никого пригласить. Раздосадованный, он что-то сказал од-

ной девушке, ей это не понравилось, и она пожаловалась парням. Те предложили моему спутнику выйти за пределы танцплощадки и “поговорить”. Я с сожалением оставил аппетитную литовочку и пошёл улаживать конфликт. Тесно окружённые пожимами на меня блондинами, только куда более габаритными, мы вышли за проволочное ограждение. Тем временем все девчонки моментально исчезли, в том числе и моя раздатчица. Здесь я понял, что дело серьёзное. Молодой человек с кривым, видимо, перебитым носом достал из внутреннего кармана пиджака велосипедную цепь и сказал: “Ну что, оккупанты? Девушек литовских захоте-элось?” “Ребята, — возразил я, — мы не оккупанты, мы отдыхающие”. “Отдохнёте в ррэани-мации”, — категорично заявил кривоносый. Не знаю, чем бы это всё кончилось, но весьма вовремя появился милицейский патруль на мотоцикле. Горячие литовские парни так быстро и дисциплинированно расточились в ночи, что фары подкатившего мотоцикла осветили только двух “оккупантов”, стоявших с разинутыми ртами.

Всё это, конечно, забавно... Однако, если говорить о пресловутом “женском вопросе”, с тех давних пор в моей жизни мало что изменилось. Семья у меня как не было, так и нет. Жить я подолгу с одной и той же женщиной не могу. Вообще, мне кажется, я в них, женщинах, чего-то не понимаю. Или они во мне. Когда я стараюсь им нравиться, они обычно отвечают мне взаимностью. Когда же начинаю относиться к ним как к другим людям, окружающим меня, — то есть, скажем так, ровно, не выделяясь, они упрекают меня в холодности и равнодушии. Отлично-с! Допустим, я холодный и равнодушный человек. Ну а другие, за которых вы выходите замуж, они что — всё время стараются вам нравиться? Да ничуть не бывало! И разговаривают с вами одними междометиями, и носки вовремя забывают менять, и нижнее бельё, и сморкаются, и чешутся в паху на манер обезьян... Я же бытового цинизма терпеть не могу, но долго изображать влюблённого тоже не могу. Добившись от женщины того, чего обычно добивается от неё мужчина, где-то через неделю я возвращаюсь к самому себе, к своему привычному состоянию. А сам по себе я совершенно не стремлюсь кому-то нравиться и не нуждаюсь в том, чтобы кто-то хотел нравиться мне. Но женщина такого типа, как я, мне в жизни пока не встретилась. Не встретилась и такая, которая ради жизни со мной взяла бы и смирилась с моей “холодностью и равнодушием”. Что ж, если так называемая нормальная семейная жизнь — это лишь постоянное притворство друг перед другом, ну её к аллаху, эту семейную жизнь!

Так-то оно так, да только с каждым годом мне всё труднее и труднее становится общаться с людьми, а с женщинами я должен перебарывать себя, изображать златоуста и остролова в том проклятом периоде отношений, когда необходимо нравиться. Допустим, гуляем мы с женщиной или сидим в кафе, а потом я провожаю её, еду домой и тщетно пытаюсь отогнать от себя вопрос: для чего, в конечном счете, я это всё делаю? Только для того, чтобы?... Но разве для этого столь уж необходимо напрягать свой мозг и язык? А между тем, в жизни моей столько нереализованных планов, когда и мозг, и язык мне бы весьмагодились... Вот и сейчас: размечтался о халлявном круизе, о том, как буду заманивать особ противоположного пола в свою “отдельную каюту”, наверняка находящуюся у гальяона, а не подумал о том, что это время хорошо бы использовать для литературной работы...

\* \* \*

Подойдя к своему дому, я увидел милицейские машины, сияющие мигалками. Мне к этому не привыкать: соседка со второго этажа, Галя, вместе со своими многочисленными сожителями гнала самогон или готовила какое-то наркотическое варево. Между её клиентами и гостями время от времени вспыхивали скандалы и драки, доходившие до поножовщины. Поэтому я равнодушно прошёл мимо машин и стоявших на обочине ментов. На газончике перед моим подъездом лежал навзничь человек. Его закрывала от меня широкая спина милицейского чина, сидевшего перед телом на корточ-



ках. Заглянув на ходу за спину, я понял, что поножовщиной здесь не пахло, Галинными клиентами, скорее всего, тоже: лежащий, судя по характерным пятнам крови и ключьям одежды вокруг ран, был расстрелян. С классическим “контрольным выстрелом” в голову. Но, несмотря на этот “контрольный выстрел”, я узнал его.

Его звали Коля, и вчера он ночевал у меня.

...Гости заявили ко мне домой накануне вечером, без предварительного звонка, — мой одноклассник из Одессы Олег Шматько с друзьями, мужчиной средних лет и девушкой. Мужчиной был этот самый Коля, обладатель седоватого ёжика на голове и тяжело набрякших подглазий. Девушку звали Юлия Безносова (она так и представилась, жеманно подав руку: “Юлия Безносова”). Я, как дурак, сразу посмотрел на её нос. Он был на месте и даже оказался приятным. Да и вообще, девочка была ничего, в моём вкусе, с прямыми точёными плечиками, высокая, стройная, тоненькая, но с аппетитной попкой и развитой грудью. Её только несколько портила жестковатая складочка у губ. Судя по непринужденности интонации, с которой Юлия Безносова общалась с Колей, она являлась его близкой подругой.

Шматько сказал: “Старик, выручай, пусти переночевать”. Я, по возможности, никогда не отказываю в этом своим иногородним друзьям — да и как ещё в наше время с ними пообщаешься? Конечно, мне не очень понравилось, что Олег притащил с собой двух незнакомых людей. Но не выставить же их за порог?

Друзей своих Шматько представил как партнёров по бизнесу. Какому именно бизнесу, я не стал спрашивать, потому что это не имело особого смысла. Лысоватый кривоногий крепьш, в юности Олег, сочинял рассказы под Кафку, но потом, когда вместе с капитализмом жизнь явила сюжеты, которые и Кафке не снились, почему-то сочинительство забросил и стал сперва “челноком”, потом сбытчиком краденых цветных металлов, владельцем продуктовых палаток, риэлтором, “туроператором” и ещё Бог весть кем. Всё это было синонимами одного и того же занятия, в советское время просто называвшегося спекуляцией. Но Шматько был неплохим товарищем, неунывающим, несмотря на очевидные провалы его бесчисленных коммерческих начинаний, умеющим смеяться над самим собой с типичным сочным южным юмором, и поэтому я охотно принимал его.

Гости привезли украинскую вышивку и закуску — горилку “Немиров”, водку “Медов”, сало, яловичину, жареную свиную колбасу, малосольные нежинские огурцы. Быстро соорудили стол. Горилка пошла неплохо, но, как я и предполагал, живого разговора не получилось. Дело было не только в том, что шматьковских “партнёров по бизнесу” я видел первый раз в жизни. Застолье зачастую сближает и совершенно незнакомых людей. Но Коля по темпераменту был полной противоположностью Олегу: говорил преимущественно междометиями, хмыкал, а то и вовсе ограничивался кивками, криво улыбался, когда никто не шутил, и не улыбался, когда шутили, в глаза собеседнику почти не смотрел, да и не видно было толком его глаз за припухлыми веками. Существуют южане и такого типа. Юлия Безносова, судя по живой игре зеленоватых глаз и по какому-то нетерпеливому, чуть ли не танцевальному движению голых смуглых плечиков, была человеком общительным, но почему-то явно сдерживала себя и при этом много курила, что обычно и делают женщины, которым приходится себя сдерживать. Я бы даже сказал, что она вела себя так, как ведут себя красивые глуповатые девушки, которые хотят казаться мужчинам умными: то есть молчат, курят и загадочно улыбаются. Однако у неё не было никакой нужды изображать что-либо из себя для Коли или Олега, а на меня она с самого начала смотрела довольно равнодушно. Стало быть, причина её замкнутости была в другом, а в чём именно, мне строить догадки было недосуг. С такой Безносовой хорошо покувыркаться в постели, а лезть в её внутренний мир едва ли целесообразно — ввиду вероятного отсутствия такового.

Что же касается обычно многословного Олега, то его явно сковывало присутствие Коли: зависел он от него, что ли? Разговор перескакивал с пятое на десятое, не задерживаясь ни на чём конкретно. Собственно, узнал я

о своих гостях только то, что они намерены пробыть в Москве два дня, завтра до позднего вечера будут заниматься делами, и, скорее всего, Николай и Юлия переночуют в другом месте. Олег же собирался снова прийти ко мне. А послезавтра утром они должны были все вместе уехать. До этого времени они попросили оставить у меня в квартире вещи — два здоровенных новомодных пластиковых чемодана с кодовыми замками. Я ещё в шутку спросил: “А там не гексоген?”, на что Шматько ответил с вернувшимся вдруг к нему юмором: “Братан, наш гексоген не взрывается. Это у вас в России в гексоген добавляют сахар для маскировки, а у нас на Украине торговцы гексогеном присыпают им сахар — и тоже для маскировки”. Коля, по своему обыкновению, даже не улыбнулся, а Юлия Безносова курила с усмешкой Джоконды, поводя голыми плечами, словно ей на спину села муха.

Несмотря на довольно вялую и принуждённую беседу, гости пили много: где-то через час бутылки оказались пусты. Причём Юлия Безносова не отставала от мужиков. С той энергичной деловитостью, с какой они осушали стопки, обычно снимают нервное напряжение. Иногда, особенно когда я выходил по хозяйству или в туалет, они перебрасывались скудными фразами на своём бизнес-жаргоне — о “чёрном нале” и “безнале”, о “клиринге” и “оффшорных зонах”. Я, конечно, ничего не понял.

Всех гостей я уложил спать в своей единственной комнате, а себе бросил матрасик на кухне. Утром они ушли, забрав сумки и оставив чемоданы. Олегу я дал запасной ключ, чтобы не связывать себя необходимостью спешить домой к его появлению. Я ему вполне доверял, да и красть-то у меня, кроме книг и старенького компьютера, было нечего.

И вот Коля, который, в принципе, не должен был ко мне сегодня приходиться, лежит перед моим подъездом, изрешеченный пулями. В смятении я стоял возле окровавленного трупа. Сидевший на корточках мент покосился на меня и привычно бросил:

— Проходите. Что вам здесь, цирк, что ли?

Я послушно вошёл в подъезд, но тут остановился. Что я делаю? Ведь я же свидетель! Почему он прогнал меня, даже не спросив, знал ли я убитого? Им что — свидетели не нужны? Глупый вопрос, ответил я сам себе, им, похоже, вообще ничего не нужно. Но сам-то разве я не обязан им сказать, что Коля вчера ночевал у меня дома? Кстати, а что происходит у меня дома? Может быть, там лежат расстрелянные Олег и Юлия? Я побежал наверх. На своей площадке перевёл дух, осмотрелся. Здесь было всё, как обычно.

С замиранием сердца я отпер дверь, вошёл. Непроветренная квартира встретила меня запахом выкуренных вчера вечером сигарет. Крадась по стенке, я заглянул в кухню, в комнату, потом, уже смелее, в ванную и туалет. Никаких трупов, слава Богу, не было. Я схватил телефон и набрал номер мобильного Олега (у него была российская сим-карта). Сначала пошли длинные гудки, но потом они вдруг оборвались и сменились короткими. Я набрал ещё раз. Теперь мне ответил неживой, издевательски чёткий женский голос: “Аппарат абонента отключен или находится вне зоны досягаемости”. Я опустился на стул, задумался. Телефона Юлии Безносовой я не знал. Но кто-то же должен прийти за чемоданами? Тут я посмотрел в угол, где стояли эти самые чемоданы.

Там было пусто.

Я вскочил, забежал по квартире в поисках чемоданов, умом понимая, что это всё напрасно. Такие чемоданы — не иголка. Шматько уже был здесь и забрал их. “Тогда не он ли?..” — пронзила меня страшная догадка. Но какой в этом смысл, если жив я, свидетель, давший ему ключ от квартиры? А может быть, это сделали те, кто убил самого Шматько и нашёл у него ключ? Тогда как они узнали мой адрес? Юлия... Вот кто им мог сказать. Шерше ля фам... Видела ли она, как я давал Олегу ключ? Вполне могла видеть, они все в это время толпились в прихожей.

Я чувствовал, что запутываюсь. А если замок был просто искусно взломан, так, что я и не заметил, отпирая дверь? Я пошёл к двери, внимательно осмотрел её с внутренней, а потом и с наружной стороны. Нет, ни на замке,

ни на косяке не имелось никаких трещин или царапин. Стало быть, открывали ключом или отмычкой. Когда я уже хотел вернуться в квартиру, внизу, где-то на первом этаже, щёлкнула отворяемая дверь, и зычный мужской голос сказал:

— Здравствуйте, милиция. Прошу вас принять участие в опознании убитого у вашего подъезда гражданина Украины.

— А почему я? Я ничего не видела и ничего не слышала, — пискнул голос соседки. — И не знаю я никаких граждан Украины!

— Вы могли его видеть раньше в этом подъезде или даже заметить, в какую квартиру он заходил. Кроме того, мы обязаны опросить жильцов подъезда, окна которых выходят на ту сторону, где произошло убийство.

Я похолодел. Проснулись! Ну почему, почему я никогда не слушаюсь первого голоса разума! Я должен был сразу сказать прогнавшему меня менту, что знаю Колю! Как оценят моё признание теперь, через двадцать минут после того, как я увидел убитого? Ясно, что я моментально стану одним из основных подозреваемых! И чем больше я здесь у себя сижу, тем больше оснований у подозрений. А как отнесутся менты к истории с исчезнувшими чемоданами? Поверят ли они мне, что это не я сам их умыкнул? Если бы призвали сразу, то, может быть, ещё и поверили... А так — для чего человек тянул время? Значит, он как минимум сообщник, значит, знал, что в тех чемоданах...

Кстати, а что там могло быть? Моя шутка про гекоген может оказаться провидческой. Ну, не гекоген, так “красная ртуть”, радиоактивные материалы, секретное оружие, героин, золото, алмазы, доллары, расчленённые трупы — в общем, что угодно из арсенала западных триллеров.

Я машинально взял сигарету из забытой гостями на столе пачки украинского “Парламента” и закурил. “Курці помирають рано”, — машинально прочитал я крупную надпись в чёрной рамке под названием сигарет. Что касается Коли — это точно. Я в сердцах плюнул и перевернул коробку. “Куріння викликає імпотенцію”, — ехидно сообщила другая сторона. А веселенькая рекламная надпись на оборванной сигаретной бандероли суммировала предложения: “Все, чого бажаєш!”.

Я затушил окурок и подрагивающими пальцами снова набрал номер Олега. “Аппарат абонента временно отключен...” Я подошёл к окну, посмотрел вниз. Тело Коли уже было накрыто простыней, сквозь которую проступали кровавые пятна. К милицейским машинам прибавилась “скорая”. В группе людей внизу я узнал нескольких соседей, пьяненькую растрёпанную Галю. “Мы обязаны опросить жильцов подъезда, окна которых выходят на ту сторону, где произошло убийство”, — вспомнил я и невольно отпрянул от окна.

Поднимутся они ко мне или поленятся? И как я себя тогда должен вести? Другой вопрос: видел ли кто-нибудь из соседей, как вчера вечером Олег, Николай и Юлия зашли в подъезд? И как они сегодня утром вышли? Я знал наверняка только то, что на моей площадке не было никого ни тогда, когда они пришли, ни тогда, когда ушли. Но на других этажах кто-то мог видеть, как они поднимались по лестнице или спускались вниз, — в нашем доме лифт давно не работает. Пришли они вчера около одиннадцати, в почти полной темноте, так как у нас на весь подъезд горят только две лампочки. Едва ли Колю успел кто-то запомнить, даже если и видел. Другое дело — когда они утром шли вниз...

Я снова подошёл к двери, стал прислушиваться, не поднимается ли милиция ко мне. Всё было тихо. Господи, прошло уже, наверное, полчаса! Что же мне делать? И тогда я решил ничего не делать до тех пор, пока ко мне не придут, а если придут, то во всём признаться, в том числе и в своих недостойных колебаниях. Семь бед — один ответ.

Но никто ко мне так и не пришёл.

\* \* \*

С одной стороны, это даже было хорошо: значит, никто из опрошенных соседей не видел Колю до убийства или не узнал его. А с другой стороны,

моё молчание в течение уже не минут, а часов автоматически сделало бы меня в глазах ментов сообщником убийц. Причем, если неведение соседей стало более или менее похоже на факт, то в отношении Шматько и Юлии Безносовой никакой уверенности у меня и в помине не было. Их могут задержать не сегодня — завтра, и они расскажут, у кого провели предыдущую ночь. И тогда моё поведение покажется милиции даже более необъяснимым, чем факт моего запоздалого признания. Я снова и снова набирал номер Олега, но ответ получал один: “Аппарат абонента отключен...”. Так было и на следующий день утром. SMS-сообщение я посылать не решался: не известно, кто его будет читать.

Странно, но при всей моей ошарашенности случившимся меня не так уж сильно интересовало, что за история произошла с Олегом, Николаем и Юлией, куда исчезли чемоданы и что в них находилось.

Это не значит, что я был равнодушен к судьбе Олега или мне было, скажем, совсем безразлично, что убили Колю. Нет, дело не в этом. Причина во мне самом. Когда-то я видел смысл жизни в том, чтобы постигать тайны мира, как светлые, так и тёмные: первые — для самопознания и самосовершенствования, вторые — дабы открывать людям глаза на то, что совершается помимо их воли и желания. Когда же мне стало сильно за тридцать, я понял, что светлые, Божественные тайны вовсе не предназначены для разгадывания или расшифровки: они и есть жизнь, постигаемая нами в процессе жизни. А если короче — судьба. Причём неважно, о какой именно жизни, какой судьбе — Вселенной, Земли, человечества, русского народа или моей, колыбановской идёт речь, так как они очень тесно связаны. Но если мы не ощущаем этой пронизывающей весь мир сверху донизу связи, то полагаем, что столкнулись с великой Тайной. На самом же деле — это Божий замысел о нас, который можно грубо сравнить с замыслом строителей дорог или газопроводов. Мы никогда не узнаем всех причин, по которым планируемый отрезок магистрали должен пролегать именно через наш дачный участок, да и едва ли захотим узнать, потому что нас больше интересуют причины, почему этого делать нельзя. Когда мы боремся за свой кусочек земли, вообще за что-нибудь своё, кровное, заработанное, взлелеянное, нам кажется, что высший порядок складывается из песчинок нашего “я” и нашего движимого и недвижимого имущества в придачу. У кого повернется язык сказать, что мы не правы? Мы правы, потому что противоположная точка зрения смахивала бы на апологию некой метафизической коллективизации. Но в таком случае мы в своей неотразимой правоте не вправе роптать: отчего Божественный замысел не открывается нам? Порядок звёзд на небе, скорость вращения Земли, добро и зло, жизнь и смерть, путь муравья и путь человека — всё это постигается как единое целое тем человеком, который не идёт путем муравья. А если кто-то вам говорит, что закон муравейника и есть закон Вселенной в миниатюре, не верьте ему, потому что подобных “миниатюр” миллионы: это и закон колонии тараканов в вашей квартире, и закон волчьей стаи, и закон стада горилл, и конституция Соединённых Штатов Америки. Может быть, в них, “как в капле воды” (любимое сравнение деклассированных интеллигентов), и отражается Высший закон, но лишь в том смысле, в каком капля есть прообраз моря.

Тайны нашей судьбы открыты нам. Их следует читать в превратностях нашей жизни. Каждый из нас занимает определённое место во Вселенной и является звеном в цепи событий, в совокупности и составляющих мироздание. Может быть, вспышка сверхновой звезды — значительно более важное событие, чем исчезновение чужих чемоданов из моей квартиры, но говорить о том, что это факт, не имеющий совершенно никакого значения в системе мироздания, нелепо. Вселенную можно сравнить с книгой, буквами которой являются люди. Нужно лишь научиться её читать. Тайнопись расшифровывают, используя повторяющиеся знаки и слова. Примерно так же обстоит дело с тайнами человеческих и мировых судеб. Например, в Голубиной книге истории “есть написано”: в апреле 1861 года в селе *Бездна* Казанской губернии солдаты стреляли в крестьян, протестующих против освобождения без земли, а в марте 1917 года на станции *Дно* Псковской губернии закончилась

русская монархия. Первым царем из династии Романовых был *Михаил*, и последним, которому своим Манифестом Николай II передал власть, был тоже *Михаил*. Восхождение Романовых началось в *Ипатьевском* монастыре, а конец свой они нашли в доме *Ипатьева*. Николай II отрёкся от престола в вагон-салоне № 468, в котором до царя ездил Столыпин, а после царя — Керенский, Корнилов, Духонин и Троцкий. Все они, кроме Керенского, умерли насильственной смертью. Керенский бежал из Гатчины в женском платье, а умер в комнатке при абортном отделении лондонской гинекологической клиники. Ленин боролся со святыми мощами, а из него самого сделали коммунистические мощи. Через несколько месяцев после смерти Ленина под временным Мавзолеем прорвало трубу канализации, что дало повод Патриарху Тихону заметить: “По мощам и елей”. Художник Корин написал картину “Русь уходящая”, в которой среди гонимого русского священства 20-х годов прошлого века изображён никому не известный 15-летний отрок. Этот отрок в 1941-м пошёл на войну, победил фашизм, вернулся в лоно Церкви и стал через много лет Патриархом Пименом. И вот, через четверть века после того, когда Хрущёв обещал показать по телевизору последнего папа, Патриарх Пимен возглавил в восстановленном Свято-Даниловом монастыре богослужение по случаю 1000-летия Крещения Руси. Торжество (с большим количеством попов) впервые в советской истории показали по телевидению.

Есть ли связь в столкновении этих фактов, имен и названий? Есть — и это Высший закон Вселенной, читающийся в событиях человеческой истории. Но мы постигаем его задним числом, а в настоящем надо довериться судьбе, ожидая, что она подаст нам знак, похожий на тот, что уже когда-то в роде бы совершенно случайно мелькнул в нашей жизни.

Я, конечно, не монарх и не исторический деятель. Но если я, Василий Кольванов, не слушаю первого сигнала мозга и подчиняюсь неправильно-второму, и делаю это систематически в течение всей жизни, не является ли такая особенность крохотным звеном существующего миропорядка? Я не знаю, какой в этом смысл, но разве моё незнание означает, что где-то, совсем близко или в непостижимой от меня дали, от не прояснённого смысла моей жизни не рождаются другие смыслы? Для кого-то, может быть, история с убийством Коли и исчезнувшими чемоданами — дешёвый детективный сюжет, но только не для меня. Со мной всегда происходит нечто подобное или должно произойти. Я давно уже не спрашиваю себя: зачем? Затем, что я Кольванов. Если мне суждено узнать всю правду о Коле и чемоданах, то я её узнаю, а если нет, то её узнают другие — может быть, благодаря мне.

А вообще, тёмные тайны (а передо мной, видимо, именно такая), или, как ещё говорят, тайны беззакония, меня не очень притягивают. Что за тайны в подлостях? Новые какие-нибудь подлости, и ничего больше. Да не хочу я их знать вовсе! Какая мне разница, что за тайну о событиях 19—21 августа 1991 года хранит Горбачёв? Да никакой! Меня и от того, что известно, тошнит. Или вот ещё “тайна”: что же происходило “за кулисами” в Беловежской пуще? Да разве вам мало того, что вы увидели “на сцене”? Не хватало ещё лезть за их поганые кулисы... Точно так же никоим образом не обогатит мою жизнь знание о том, за что убили едва знакомого мне Колю и что было в пропавших чемоданах. Конечно, мне было бы жаль, если бы с моим однокашником Олегом случилось то же самое, что с Колей, но, объективно говоря, не я выбирал для него деятельность, за которую могут убить.

А вот что волновало меня по-настоящему, так это то, что я волей-неволей оказался по уши втянут в загадочную и кровавую историю.

Я ещё раз сделал безрезультатный звонок на мобильный Шматько и поехал на работу. Когда я спускался по лестнице, то увидел стоящую у дверей своей квартиры Галю. На халате её была всего одна пуговица, где-то возле пушка, так что ей приходилось целомудренно придерживать свою хламиду сверху и снизу. Эта стеснительность означала, что она больна похмельем, и похмелиться ей не на что. Но вот смотрела на меня Галя без обычной утренней стеснительности, как-то даже нагло.

— Вчера у нашего подъезда человека убили, — с трудом разлепив за-  
пекившиеся уста, хрипло сказала она.

Я в ответ промычал что-то между “знаю” и “вот как?”.

— У него нашли украинский паспорт, — продолжала Галя, сделав шаг  
к перилам и тем самым преградив мне путь вниз. — Менты почему-то ре-  
шили, что он шёл ко мне. Это всё участковый, сука! Почему, если с Украи-  
ны, то сразу ко мне? Я уже давно не украинка. Я русская женщина. Мало  
ли, куда он шёл? Может быть, к тебе?

Я вздрогнул и пристально поглядел на нее. Она ответила мне всё тем же  
хитрым, взыскующим взглядом.

— Я так взволновалась, так взволновалась! До сих пор не могу придти  
в себя. Голова раскалывается. Дай сто рублей! Лекарство не на что купить.

Сумму на “лекарство” она на этот раз запросила несусветную: обычно  
речь шла о 10—30 рублях. Причём раньше она всегда прибавляла, что обя-  
зательно отдаст деньги, и даже говорила, когда (что, надо отдать ей долж-  
ное, порой сбывалось). А сейчас просто: “Дай сто рублей!”. Стало быть,  
видела Колю, знала, где ночевали украинские гости? И сразу повысила  
“ставку” до цены бутылки водки? Или я, как Раскольников, буду теперь  
преувеличивать любую мелочь? Поздним вечером Галя всегда пьяна, не ви-  
дела она никого. А утром? Украинская троица спускалась, а она стояла вот  
так в дверях, в срамном своём халате, в надежде “срубить” деньжат. Эти ча-  
стые утренние дежурства научили её узнавать каждую открывающуюся дверь  
в подъезде по звуку. И если она стояла тем утром на площадке, то, конеч-  
но, знает, из какой квартиры вышли Олег, Николай и Юлия.

Я вынул бумажник, покопался в нем и достал 50 рублей.

— Больше нет. — И, помолчав, спросил: — Так тебя подозревают,  
что ли?

Галя быстрым обезьяним жестом схватила деньги, от чего полы её хла-  
миды разошлись, обнажив синеватые ноги и заношенные мужские трусы с  
трапецевидным гульфиком.

— Меня всегда подозревают, — уже не глядя на меня, ответила она и  
исчезла в дверях своей квартиры.

Я пожалел, что не успел спросить у неё, что такое “шкарпетки чоловічі”  
(это я прочёл на ярлыке, валявшемся у меня на полу). Наверное, “носки  
мужские”. А у неё, стало быть, трусы чоловічи.

Я спустился вниз, быстро прошёл мимо затоптанного газона с бурыми  
пятнами засохшей крови на том месте, где лежал вчера труп.

Чувствовал я себя отвратительно. На наглядном примере я узнал цену  
своему молчанию. Я буду вынужден теперь едва ли не каждое утро давать  
взятки этой алкоголичке в “чоловичих” трусах. Но, если Галя действительно  
видела Колю, и на неё нажмут, напомнив ей прежние грешки, то она без  
всяких колебаний выдаст меня. “Ну и пусть! — вдруг подумал я. — Мент  
прогнал меня, когда я остановился возле тела, а лицо убитого было залито  
кровью. Скажу, что не узнал его в тот момент, и всё. Пусть нерадивый мен-  
тяра тоже несёт ответственность. А то у этих “законников” всегда виноваты  
все, кроме них самих. Чемоданы? Мне нет дела до чужих чемоданов. Поче-  
му я должен думать, что их украли? У Шматько был ключ, и он мог прид-  
ти и забрать их.

Ну а если спросят, почему меня не насторожило внезапное исчезновение  
Олега, молчание его мобильного? Что ж, здесь тоже всё очень просто.  
Я знал, что у него с друзьями вчера было очень много дел. Николай и Юлия  
вообще собирались ночевать в другом месте, да и Шматько, как мне показа-  
лось, был не очень уверен, что придёт ко мне. Вернувшись вечером домой,  
я не увидел чемоданов, из чего сделал вывод, что Олег забрал их и, скорее  
всего, не будет у меня ночевать. Молчавший мобильник? Ну, это дело обыч-  
ное, есть люди, которые вообще включают его только для того, чтобы самим  
звонить. А почему меня не насторожило, что он молчал и на следующий  
день? А на следующий день они все должны были уехать! Шматько сел в по-  
езд, заменил российскую сим-карту на украинскую... Вот и: “Аппарат або-  
нента отключен...”

Что ж, всё логично! И если я буду держаться этой версии, то моё поведение покажется не более подозрительным, чем если бы я сразу опознал Колю. В последнем случае я всё равно стал бы для милиции подозреваемым. Особенно если бы не дали о себе знать Олег и Юлия, как это и происходит сейчас.

Но я никогда не имел никакого отношения к преступному миру, и мне, естественно, не нравилось то, что я уклоняюсь от содействия правосудию. Ведь с моей помощью можно составить фотороботы Олега и Юлии. Да что там фотороботы: у меня есть студенческие фотографии Шматько... К тому же я сообщил бы следствию их имена (во всяком случае, имя Шматько; Безносова может оказаться вовсе не Безносовой). И тогда, при содействии украинской милиции, расследование пошло бы быстрее.

Хотя кто знает, как оно осуществляется, это правосудие? Что больше продвигает расследование: шаблонные поступки подозреваемых и свидетелей, или нешаблонные? Зацепки всегда — в нешаблонных. Допустим, в убийстве Коли виновны Шматько и Безносова, или кто-то один из них. Естественно, в этом случае они предусмотрели возможность моих показаний и ушли “на дно”. Это — шаблонный поступок. А вот если они узнают, что их не ищут, то, скорее всего, станут совершать нешаблонные поступки, которые и выдадут их.

Возможно, они уехали ещё вчера, и необязательно на Украину. Во время позавчерашнего застолья они говорили между собой что-то об оффшорной зоне, — так они уже вполне могут быть в этой самой оффшорной зоне с чужими документами. Предварительно, вчера же, продав содержимое чемоданов. А Коля был убит, чтобы с ним не делиться (он вёл себя как главный, и очень возможно, что его доля от сделки значительно превышала долю Олега и Юлии). В таком случае будущее убийц решится в порядке, предначертанном их судьбой, без меня и без милиции, — как это было с пресловутым Солоником и его любовницей в Греции. Кровавые деньги всегда тянут за собой смерть.

Поэтому, с нравственной точки зрения, я не испытывал особых угрызений совести. Вот если бы я видел, кто убил Колю... А так — я не знаю ни цели приезда троицы в Москву, ни того, что было в их чемоданах. Моё признание — это дополнительный “геморрой” для меня и сомнительная помощь следствию.

С этими мыслями я подошёл к редакции “Новой России” в Петровском переулке.

\* \* \*

Хотя я и похоронил себя в этой “Новой России” почти на пятнадцать лет, но ни в каких других изданиях, в сущности, работать бы не хотел. Всем им я знал цену. За “перестройку” я прошёл путь от демократа-идиота до мажоранта-антидемократа. Причём и то, и другое было игрой, правила которой придумал не я.

Я учился на факультете журналистики, но года до восемьдесят шестого читал постоянно только одну газету — “Советский спорт” и один журнал — “Иностранная литература” и, надо сказать, прекрасно себя чувствовал.

Но вот в газетах и журналах стали печатать “запрещённое”. За “Московскими новостями” люди охотились так же, как за “Советским спортом” после победы футболистов киевского “Динамо” в Кубке кубков. Ответственный секретарь журнала, где я несколько месяцев работал после окончания университета, с помощью какой-то непростой комбинации подписалась на “МН” и приносила газету в редакцию, а мы её по очереди читали, забросив все дела. У нас служила буфетчицей персональная пенсионерка Любовь Порфирьевна Белоусова, бывшая ответственной работница Минсельхоза Казахстана и поклонница Сталина. Разнося чай, она заглядывала нам через плечо и ехидным скрипучим голосом зачитывала заголовки. Один из них гласил: “Тайна логики Сталина”. Прочтя его, Любовь Порфирьевна демонически

расхоталась и бросила, вразвалочку удаляясь со своим подносом: “Разгадали, наконец!”

Членом редколлегии этого журнала был писатель Александр Проханов, “соловей Генерального штаба”, как его тогда называли либералы. Он тоже косо смотрел на “МН”. “Это печка, — говорил он в обычной для себя аффектированной манере, указуя перстом на лист “МН”, — в которую сейчас бросают Ленина, Сталина, Берию, Кагановича, Молотова, Брежнева, а потом будут сжигать живых людей”.

Я тогда посмеялся про себя над этой гиперболой, но прошло немного времени, и я почувствовал на себе правоту прохановских слов насчёт печки. Чуть выдавалась минута свободного времени, я жаждал получить в руки газету или журнал — и желательно “погорячее”. Некто праздный во мне требовал острой пищи, как наркоман грезит о заветной ампуле. Жизнь казалась пресной без разоблачений и сногшибательных новостей. Если раньше, отложив “Советский спорт”, я мог ни о каких газетах даже не вспоминать, садился за письменный стол и сочинял что-нибудь своё, бесконечно далёкое от политики, теперь мне, видите ли, требовалось доскональное знание политической ситуации. Зачем? А Бог его знает, зачем. Страна куда-то неотвратимо поворачивается, а я что, должен по-прежнему копаться в самом себе?

Но разве “МН” и “Огонек” открыли мне что-то новое, или я сам не думал раньше о том, о чём они пишут? Думал, но как-то глубже, спокойнее, а сейчас меня явно подталкивали информационным натиском к каким-то выводам. Меня словно стукнули по лбу, когда я это осознал. Я почувствовал неприязнь и даже лёгкое отвращение ко всем этим “МН”, “МК”, “АиФ”, “Огонькам” et cetera, потому что всегда сам любил делать выводы.

Я даже решил освободиться от газетно-журнальной зависимости, но это случилось само собой: меня забрали на полтора года в армию, и не куда-нибудь, а в бурлящий тогда Нагорный Карабах.

И вот тут произошло нечто очень странное. За время работы в журнале я несколько раз становился свидетелем деятельности пресловутой цензуры (или Главлита, как тогда говорили), но всё не мог понять смысла этой деятельности. В ней не просматривалось единой логики, за исключением разве запрета принимать чью-нибудь сторону в межнациональных раздорах.

Но именно этот единственный здравый запрет в 1988 году, когда я был в Карабахе, по не понятным тогда мне причинам отменили. Началась свистопляска: одни издания поддерживали требования армян, другие — азербайджанцев. Сейчас-то ясно, что журналисты тогда стали продавать свои перья, а редакторы — страницы враждующим сторонам, что, естественно, только подливало керосину в огонь резни. Вот тут-то бы и вмешаться цензуре, но она почему-то не вмешивалась.

Сидя в Карабахе под перекрёстным огнём (хотя армяне относились к нам получше, чем азербайджанцы), мы всё ждали, что власть запретит эти истеричные “народные фронты”, даст по рукам кликушам в Ереване и Баку. И чего же мы дождались? Горбачёв сказал: национальные проблемы так долго загонялись вглубь, что теперь не могли не выйти наружу. За перестройку, дескать, приходится платить. Так и сказал: “Перемены стоят крови”.

Да видел ли он кровь? — удивлялись мы. И стоят ли её вообще какие-либо перемены?

Когда же я с этими мыслями вернулся в Москву, люди моего круга посмотрели на меня как на слабоумного. “Ты что — стал лигачевцем?” — спрашивали они. “Вы видели кровь?” — спрашивал я их в ответ. Они пожимали плечами. Интеллигенты пугаются только собственной крови.

Но странное дело: то ли кровь позабылась, то ли меня подспудно тяготила мысль, что за полтора года солдатчины я отстал от “продвинутых” людей, но вскоре я снова втянулся в чтение газет и журналов. И ещё смотрел по телевизору Съезды народных депутатов, программу “Взгляд”, “До и после полуночи”, “Пятое колесо” и прочую чепуху, не вспоминая, каким фальшивым, надуманным, далёким от реальной жизни мне всё это казалось во время карабахской резни. Постепенно я возвратился в состояние зомбированного демократа. Информационный натиск, следующий сразу за информа-



ционному голодом, — это страшное психологическое оружие, от воздействия которого не спасут и годы воздержания. В 1989 году, если следовать классификации Проханова, в печке вслед за Сталиным и Брежневым горели Ленин и Хрущёв. Не сожжённых вождей в СССР уже не осталось, наступила очередь самого СССР.

Тогдашняя “гласность”, как я сейчас понимаю, была вовсе не свободой слова, а подменой свободы слова свободой пропаганды, причём односторонней. Все эти склоки на Съездах народных депутатов, в ЦК КПСС, в творческих союзах были, в сущности, лишь проекцией советских профсоюзных страстей в общегосударственном масштабе. Известно ведь, как тогда жили: на парткомке кивали, на профкомке орали. Ибо что такое был профком? — путёвки, льготы, квартиры; и никто в пылу борьбы за них не вспоминал, что мы живём в “тоталитарном государстве”. Если бы свобода так же была нужна людям, как путёвки и квартиры, то они и за неё бились бы с пеной у рта. Однако большинству требовалась не свобода, а возможность удовлетворять возрастающие материальные аппетиты. Поэтому так называемая парламентская, политическая жизнь и свобода слова вкупе с ней заведомо были обречены на месткомовские склоки. Никто, выходя с профсоюзного собрания, где метались, мячиком отскакивая от стен, флюиды ненависти, не становился свободней, только зверел. Свобода рвать и хватать есть предтеча всякого тоталитаризма. И вот, спрашивается, что же мы могли получить, поменяв тоталитаризм парткома на тоталитаризм месткома?

“Нечего пенять на прессу, она всего лишь зеркало”, — твердили тогда идеологи типа Александра Яковлева. Допустим, что зеркало, и даже не кривое. Но представьте, что у вас дома нет большого зеркала, лишь настольное для бритвы. И вот вы входите в комнату, сплошь увешанную зеркалами в человеческий рост. Даже чисто психологически вы сразу ощутите разницу между тем, какое отражение вы видели дома и какое в этой комнате. А если большие зеркала искажены — не сильно, а чуть-чуть, чтобы не создавать эффекта “комнаты смеха”, — у вас будут веские основания считать, что ваши отражения в зеркальной комнате более правильные, нежели в настольном зеркальце. Потом вас провожают в следующую комнату, в которой зеркала искажены сильнее, чем в предыдущей. Но вы этого не замечаете, потому что уже привыкли в небольшому искажению, как больной к гомеопатической порции яда. А если и замечаете, то относите изменения на свой счёт: “Неча на зеркало пенять”...

А за стенами этого аттракциона кривых зеркал, между тем, уже всюду пылал Советский Союз. Наступила очередь живых людей. Целена спала с моих глаз, когда азербайджанские националисты устроили в Баку резню армян и русских. Армия с боем вошла в город, ценой своей крови восстановила порядок, а пресса и телевидение обвинили её в убийствах *мирных* жителей. Если относительно событий на проспекте Руставели в Тбилиси я ещё сомневался, виновата ли в них армия, то теперь я не сомневался ничуть. Моих бывших товарищей по оружию просто шельмовали. Точно так же могли назвать убийцей и меня за службу в Карабахе. Мы ведь там тоже стреляли по погромщикам. Да и в Баку я вполне мог оказаться, прослужив немного подольше.

Я перестал, и на этот раз окончательно, читать демократические газеты и журналы и смотреть либеральные телепередачи. Меня от них тошнило. Но я вовсе не излечился от газетно-журнального привыкания. Отказавшись от одних изданий, я принялся читать другие. Проханов, предсказавший, во что выльются перестройка и гласность, стал выпускать газету “День” — и я читал газету “День”. В ней исподволь пропагандировалась идея военного переворота как единственной возможности спасти страну. И я тоже стал ждать этого переворота.

Ах, лучше бы я его не ждал! Патриоты Советского Союза, сокрушавшиеся по поводу нерешительности и безволия ГКЧП, не правы: сокрушаться было не по чему. Члены этой “хунты” были порождением всего послевоенного советского уклада жизни. Распорядиться штурмовать правительственное здание, пусть и перешедшее в руки идейных врагов, они не могли ни под каким предлогом. Долг вынудил их пойти на самую крайнюю меру, на кото-

рую они были способны, — на чрезвычайное положение (непонятно только, где, кроме Москвы). А когда в случайной (а скорее всего, в неслучайной) стычке всё же пролилась малая кровь, “чрезвычайное положение” закончилось. Стариков отвели в тюрьму.

Перейдя работать в “Советский Союз”, то бишь в “Новую Россию”, я потихоньку оправился и пришёл в себя, несмотря на все неурядицы. Но от газетно-журнальной зависимости я полностью освободился лишь через два года.

Прохановский “День” после августа девяносто первого не только не смогли придушить, напротив, он резко пошёл в гору. Причиной этого, вероятно, было то чувство тоски и одиночества, которые испытывали многие люди после распада Советского Союза и начала шоковых “реформ”. Ельцинские СМИ называли их “ломпенами”. “День” же обращался к ним как к людям, говорил о происходящем на их языке, не особенно стесняясь, как и они, в выражениях. Появилась знаменитая колонка “Агентство “Дня”, политические остроты и каламбуры из которой загуляли по всей стране: “Бурбулис не передаётся при рукопожатии”, “Караулов устал”, “Европейцы”, “Либеральные интеллигенты — это человекоподобные водоросли”, “Когда Ельцин и Буш были маленькими, они ели сырое мясо”, “В полночь над Россией восходит садистская улыбка Митковой”, “У Сванидзе волосы растут из души”...

В то время, как осведомлённые аналитики “Дня”, часто анонимные, уверяли читателей, что Ельцин — это больной, недееспособный, спившийся человек с хулиганскими замашками вместо политической воли, другие авторы твердили, что в воинских частях и на крупных предприятиях работает против “оккупантов” могучий Фронт Национального Спасения. Ещё немного — и у армии и народа лопнет терпение, и они сомкнутыми сотысячными мви колоннами двинутся на Москву.

Но Ельцин не стал ждать этих колонн. 21 сентября 1993 года он первым нанес удар.

Верховный Совет не подчинился указу Ельцина о роспуске и призвал своих сторонников к сопротивлению. Я ходил на площадь перед Белым домом, пока его не оцепили войсками. Очередной номер “Дня” вышел с портретом Ельцина вниз головой — всё, мол, каюк. Газету продавали возле Дома Советов, где днём было мало народу и особого подъёма не наблюдалось. Союз офицеров, на который так рассчитывали оппозиционеры, в основном представляли пожилые отставники. Уверенность “Дня” в скором падении Ельцина была чисто пропагандистской. Когда же и впрямь к Белому дому стали подтягиваться люди, появилась надежда, что со временем подойдут и многотысячные колонны.

Они подошли только 3 октября.

Теперь-то мне ясно, что тогда просто собрались вместе все те, кто когда-либо участвовал в мероприятиях оппозиции. Ни одна из воинских частей, в которых якобы работал Фронт Национального Спасения, не пришла Верховному Совету на помощь. Притока свежей крови в вены оппозиции не было. Те немалые, но отнюдь не гигантские силы, на сбор которых потребовалось две недели стихийного протеста, оппозиция сначала бездарно расплыла между Красной Пресней и Останкиным, а потом её беспощадно разгромили.

Я видел, как 4 октября пополудни, когда временно прекратили огонь по Дому Советов, из одного подъезда вывели женщину. Это была сотрудница секретариата Верховного Совета, находившаяся в здании с 21 сентября. Два часа она вместе с другими женщинами и детьми пробиралась сюда по подземному переходу из здания Центризбиркома, расположенного в метрах ста пятидесяти от Белого дома, скользя по крови лежавших там раненых и убитых. У выхода за оцепление её оттащали за волосы и избивали стянувшиеся сюда гайдаровские дружинники-буржуины. Мы с друзьями пробились к ней сквозь толпу и сумели вывести. Изможденная, растрёпанная, поникшая, дрожащая от многодневного холода, она стояла в окружении немногих сочувствующих и говорила с расширенными от удивления глазами, что во время попадания танковых снарядов огромное здание раскачивалось, как при зем-

летрясени. Ещё она сказала горько: “Армия... Мы так её ждали все эти дни... — И добавила с непередаваемым женским презрением в голосе: — Даже сегодня до полудня ждали...”

Я с ужасом понял, что передо мной одна из жертв шапкозакидательских статей “Дня”. Чадно дымили верхние этажи Дома Советов, от служебного входа несли изуродованные кумулятивными снарядами до неузнаваемости трупы молодых парней и складывали их под Калининский мост... “Бурбулис не передаётся при рукопожатии”. Вот уж воистину: из “комнаты смеха” — в “комнату ужасов”...

У пропаганды, конечно, свои законы, но ведь не погиб ни один из витий Фронта Национального Спасения, рвавших на груди рубаху за народ! Все они живы, многие процветают — гладкие, хорошо одетые, на новеньких иномарках ездят, дачи построили, стали лояльными власти депутатами, сенаторами, губернаторами... Славу Богу, что у них всё хорошо, — не всё же их противникам жировать, но почему они и единым словом не покаялись перед памятью тех, кого обрекли на смерть? Для меня в литературе одним из высочайших образцов жертвенного героизма был полковник Най-Турс из “Белой гвардии” Булгакова: сам погиб, но безусых юнцов не дал бессмысленно угробить. Я с щемяющей горечью вспоминаю тех ребят из Октября 93-го, разговаривающих у костра о России, — непосредственных, искренних, умных, живущих трогательным патриотическим порывом. Это были молодые честные силы, в которых теперь так нуждается Россия...

“Ах, закройте, закройте глаза газет!” — как писал Маяковский.

Я тогда понял природу чтения газет и “тонких журналов” — независимо от их политической ориентации. Это — как склонность к тайным грешкам. Однажды за прилавком московского магазина я увидел молоденькую брюнетку в одном переднике, будто только что сошедшую со страниц “Мастера и Маргариты” или “Пентхауса”. Ошеломлённо пялясь на неё (“До чего дошла реклама!”), я вскоре понял, что ошибся: одеяние прелестницы было лишь до предела укорочено и декольтировано, а поскольку передник оказался длиннее юбочки, создавалось впечатление (может быть, и сознательно), что красotka голая. Естественно, когда обладательница рельефных форм наклонялась к кассе, чтобы отсчитать сдачу или тянулась к полке за пачкой чая, взгляды мужских летели к ней поверх колбас как намагниченные. Выбирая чай, я без всякой праздной мысли заставил томную брюнетку подняться на ступ два раза.

Так и страдающий газетной зависимостью человек не помышляет о грехе, но рука его безотчётно тянется за деньгами, чтобы купить газету. В нас внедрились это на уровне павловских рефлексов. Собаку кормят и сигналият лампочкой, а потом всякий раз, когда зажигают свет, у неё из фистулы капает слюна. Приучив себя к газетам, мы реагируем на их заголовки, словно собака на лампочку, но голова наша остаётся после чтения такой же пустой, как собачий желудок.

Вот что значит — “глотатели пустот”! Эка невидаль — скучная газета! Её не читают, а значит, ничего не глотают. Глотают “интересное”.

Не знаю, может быть, во времена Цветаевой пустоты оставались пустотами и не имели злокачественного характера, но с тех пор всё сильно изменилось.

В жизни мы не всякому человеку пожмем руку, а иная газета или передача делают десятки людей с грязными, а то и окровавленными руками. Зло расширяет их, как газы плоть гангренозного больного. Они умрут, если не отравят других ядовитыми испарениями своего мозга. Ибо зло — это сначала энергия, а лишь потом физическое действие. Оно не хочет питаться мертвечиной, уже погубленными душами, ему подавай неиспорченных. Зло — это пустота, а она не может произвести из себя ничего, даже новую пустоту, и поэтому нуждается в нас, как паразитический микроорганизм в питательной среде. Мы с жадностью хватаем утром за свежий газетный лист — а в нем некролог по нашей душе. Незаметно глотая каждый день пустоту, мы не замечаем, когда её давление приближается к критической отметке. В один прекрасный последует взрыв, и мы сами станем пустотой, состоящей лишь из миллионов газетных заголовков.

Я нашёл себе в жизни тихую заводь — “Новую Россию”, культуртрегерский журнал с неявным оппозиционным уклоном, и если порой и ропщу на свою судьбу, то это от национальной привычки бесцельно роптать, сознавая, что в другом месте будет ещё хуже.

\* \* \*

В дверях редакции я столкнулся с молодым кавказцем во всем чёрном, который, исподлобья, с каким-то, как мне показалось, сомнением глянув на меня, прошёл мимо. Я поднялся по парадной лестнице старинного особняка, украшенной изваянием голы античной богини, кивнул вахтеру, который сидел на верхней площадке.

— Вы не встретились с мужчиной, который только что спрашивал вас? — спросил он.

— Я столкнулся с кем-то у входа. Это был он?

— Да. Разве вы его не знаете?

— Нет.

Я вернулся к дверям (не скажу, чтобы очень быстро), выглянул на улицу. Молодой человек в чёрном садился в чёрный джип, припаркованный ближе к Петровке (возле нас, из-за близости Совета Федерации, запрещено было парковаться). Я тупо посмотрел ему вслед и пошёл назад.

— Ушёл? — осведомился вахтер.

— Ушёл.

— Он обещал зайти попозже.

Вот как! Значит, я ему нужен. Но вот зачем? На автора с рукописью молодой человек совершенно не похож: наши авторы не стригутся под бобр и не ездят в “навороченных” джипах. Может быть, он из милиции? Милиция тоже ездит в автомобилях поскромнее. Не о чемоданах ли приходил осведомиться этот джигит?

Я поднялся к себе в кабинет, расположенный этажом ниже прежнего, погубленного тушением пожара. Впрочем, этот тоже изрядно пострадал: на потолке были страшные разводы от воды, которую не жалели пожарные, штукатурка в одном углу обвалилась, и из дыры торчала дранка, электричество не действовало. Работал только телефон. Я машинально взял трубку и в который уже раз набрал номер Шматько. По привычке я приготовился выслушать надоевшее до чёртиков сообщение электронной барышни, как вдруг после второго гудка мне ответил глухой мужской голос:

— Алё.

От неожиданности я чуть не выронил трубку: не только потому, что мне ответили, когда я уже этого не ждал, но и потому, что голос, мне показалось, вовсе не походил на голос Шматько.

Я молчал в полной растерянности. Кто там на связи? Убийцы? Милиция? Ни с теми, ни с другими говорить особого желания я не испытывал.

— Алё! — повторил голос. — Шматько слушает!

Я отшвырнул трубку, как будто это была ядовитая змея. Она не попала на рычаг, косо ударилась о корпус и отскочила на стол спинкой вниз.

— Алё! Не бросайте трубку! — неслось из наушника.

Я изо всей силы ударил по рычагу. Олег никогда не отвечал: “Шматько слушает”, он даже “алё” не говорил, а произносил, как по-писаному: “Алло!”. Мне совершенно точно отвечал другой человек.

Я мгновенно взмок. Мне стало страшно. Трясущимися руками я вытащил сигареты, долго не мог поймать огоньком зажигалки белый цилиндрок. “Курці помирають рано”. Лежавшая на столе трубка противно стонала короткими гудками. Я с отвращением, словно она была во всём виновата, бросил её на рычаг. Телефон сразу зазвонил. Я хотел было взять трубку, но вдруг подумал: а если это звонит человек, владевший мобильником Олега? Ведь телефон у Шматько был новейшего образца, фиксирующий все входящие звонки.

Я сидел и смотрел на трезвонивший аппарат, как на живое существо. Где-то после десятого звонка он замолчал, а потом, секунд через пять, зазво-

нил вновь. Дотлевшая до фильтра сигарета дико ужалила меня в пальцы. Я вскочил, матерясь, тряся рукой.

Телефон, точно сообразив, что мне не до него, затих. Я достал платок, вытер пот со лба. Всё, надо идти в милицию! Доигрался со своей философией! Пусть меня посадят в камеру, там будет безопасней. И тут запиликал мой мобильник. Я затравленно перевёл дыхание и осторожно (не знаю, правда, зачем) извлек его из кармана. Хоть он был у меня и не новый, с одноцветным дисплейчиком, но имена входящих абонентов, занесённых в память, высвечивал. На веселеньком голубом экранчике, под музыку Вивальди, грозно проступило, как “мене, текел, фарес”: “Шматько”. Красной кнопкой я выключил мобильник, прижав её, бедную, с такой силой, словно давил на сигнал тревоги.

Я подбежал к эркерному окну, рванул створку на себя, обсыпавшись чешуйками краски, и высунулся, чтобы посмотреть, нет ли на улице чёрного джипа. Его не было.

В этот момент постучали в дверь. Я заметался по кабинету. Увы, увы, спрятаться было негде! Можно лишь было прыгнуть в окно. Но третий этаж старинного особняка — это всё равно, что пятый в современной многоэтажке. Нет уж, лучше пусть застрелят.

Я сел за стол, сжимая в руке мобильник, как ручку невидимого щита. О, идиот! Можно же было запереться на защёлку! Так, а потом? Тем временем дверь открылась, не дожидаясь моего ответа. Вошла секретарша главного Вера.

— Василий Петрович! Мне звонят, спрашивают, на работе ли вы, просят позвать к телефону. Я отвечаю, что на работе и что у вас есть свой телефон, а он говорит: звоню, но никто не отвечает. Ваш телефон работает?

— Р-работает, — выдал из себя я. — Но... плохо.

— Оно и видно! — Она подошла к столу, сняла трубку, поднесла её к уху. — Сигнал есть. Со звонком что-то, что ли? — Секретарша перевернула аппарат. — Нет, включен почти на полную громкость. Странно. Этот мужчина у меня на проводе, хотите поговорить с ним?

— Нет! — вскочил я. — Нет! Я не обязан бегать в приёмную, отвечать на звонки! У меня дел по горло! Пусть правильно набирает номер! Так ему и скажите!

— Я тоже не обязана звать вас к своему телефону, — обиженно заявила Вера. — Я не ваш секретарь. Хорошо, так и скажу. Вы что, не с той ноги сегодня встали? — Она ушла, стуча каблуками.

Я сбросил трубку с аппарата.

Да, не с той ноги, и странно, что я вообще встал! Могли прийти, привязать к кровати и пытаться раскалённым утюгом, спрашивая, где чемоданы! Кстати, они вот-вот придут сюда, как и обещал кавказец из джипа. Теперь то они знают, что я на работе. Надо делать ноги, пока не поздно.

Я вернул трубку на место. Телефон словно ждал этого и сразу зазвонил. Злобно поглядев на него, я вышел и запер дверь. Когда я проходил мимо стола Верочки, она удивлённо подняла брови.

— Я на пресс-конференцию, — буркнул я и побежал вниз по лестнице. В это время меня занимала одна только мысль: куда идти — в ближайшее отделение милиции, что находится за “Макдональдсом” на Пушкинской площади, или на Петровку. Правильней было бы на Петровку, но там проходная, и, пока я буду объяснять в бюро пропусков, в чём дело, они могут запросто, послушав меня, вызвать психиатрическую службу, как это было с булгаковским Иваном Бездомным. Нет, первая мысль — самая правильная! Иду в участок, туда хоть вход свободный.

Внизу, у стола вахтера, стоял мой “чёрный человек”.

Я вообще, можно сказать, трус, хотя в молодости вроде бы не был трусом. Я боюсь всего: утренней встречи с Галей, бабок на скамейке у подъезда, бомжей, хулиганов с пивом, Верочку эту, главного редактора, милиции, даже частных охранников в камуфляже. Если уж быть до конца откровенным, то я порой боюсь выходить на улицу, хотя толком не знаю, почему. Может быть, я вообще боюсь жизни. А может быть, это не страх, а идио-

синкразия к серым улицам и серому московскому небу. Во всяком случае, дома, в обжитом пространстве, я чувствую себя увереннее. Но и дома я страшусь (стесняюсь?) позвонить кому-нибудь даже с самой маленькой просьбой. На подготовку такого звонка уходят порой дни и недели. Я сам редактор, и не просто редактор, а “зав”, но если бы вы знали, с каким сердцебиением я тащусь со своей рукописью к другим редакторам!

Но однажды наступает момент, когда некая мера страха и стеснительности оказывается во мне переполненной, и я вдруг “соскакиваю с катушек”, становлюсь полной своей противоположностью. Тогда я не прошу ничего по телефону тоненьким голосом, одной только интонацией уже допуская отказ абонента, а требую короткими рублеными фразами, и это почти всегда приводит к нужному мне результату. Тогда я не сюсюкаю с Верочкой, а рываю на неё, как несколько минут назад, и она, обычно тянущая с ленцой: “Хорошо, я доложу главному”, тут же бежит докладывать Мишарину, что этот Кольванов не с той ноги встал, требует немедленно принять его.

Именно в таком состоянии я находился сейчас, задёрганный этими звонками, опротивевший сам себе за унизительное метанье по кабинету, когда постучала секретарша. Совершенно не думая о том, что я буду дальше делать, я шёл прямо на незнакомца в чёрном, неотрывно глядя ему в глаза. Очевидно, моё поведение явилось для него некой неожиданностью, потому что он, не производивший впечатления нерешительного человека, вдруг вильнул своим взглядом в сторону и невольно посторонился, когда мы оказались рядом. При этом он раскрыл рот, чтобы, наверное, сделать мне предложение, от которого я не смогу отказаться. И тут я ему влепил, хотя ещё секунду назад не знал, что бы мог ему сказать:

— Пошёл ты!.. Не видишь, мне некогда?

У вахтёра отвисла челюсть.

В глазах у парня в чёрном мелькнуло нечто, что можно назвать условным рефлексом, а именно: лакейская привычка подчиняться, когда тебя посылают, потому что посылать такого бугая могут только те, кто, безусловно, имеет на это право. Рефлекс, я думаю, сработал на долю мгновения, дальше мой джигит, скорее всего, понял, что я “быкую”, но и этого мига мне было недостаточно, чтобы перехватить инициативу и беспрепятственно миновать незнакомца. Так часто бывает в футболе: вроде бы защитник надёжно перекрывает путь нападающему с мячом, ничто, кажется, воротам не угрожает, но форвард, вдруг сделав молниеносный финт, пробрасывает себе мяч на ход и оставляет опекуна за спиной метра на три, а то и на пять. Смотрим при повторе на таймер и видим, что на всё про всё не ушло и секунды. Что же этот форвард — волшебник? Да нет, знатоки понимают, в чём дело: защитник-то стартовал с места, да ещё должен был развернуться, когда его “мотанули”, а нападающий набрал хорошую скорость ещё до обыгрыша. В общем, прикладной пример для общей теории относительности Эйнштейна.

И вот, обыграв матерным “финтом” защитника чёрных, я, не снижая скорости, оказался внизу парадной лестницы, у дверей, в то время как мой “визави” по-прежнему стоял и хлопал глазами на первой площадке. Выскочив на улицу, я увидел по обеим сторонам двери ещё двух игроков в чёрном, один из которых тоже явно был кавказцем. Они посмотрели на меня с тем же сомнением, что и их коллега при первой встрече со мной, — то есть в лицо они меня тоже не знали. Я широким шагом рванул мимо них к Большой Дмитровке. За спиной я услышал, как хлопнула дверь и сдавленный от бешенства голоса первого:

— Это он! К машине!

“Теряйте, теряйте секунды, — на ходу соображал я. — Надо скорее добежать до въездных ворот Совета Федерации: там охрана, и они не посмеют стрелять. Да они вообще не будут стрелять! — осенило меня. — Я им нужен живым, чтобы, наверное, рассказал про чемоданы”. Я оглянулся на ходу. Парни садились в джип в другом конце Петровского переулка. “Отлично, отлично! Успею дойти до Большой Дмитровки, пока они подъедут. А там рвану на другую сторону улицы, чего они на машине сделать не смогут. Ещё

выигрыш во времени. Потом побегу по Козицкому переулку, нырну в арку, выскочу двором на Страстной, а дальше под землю, в метро, сяду на первый же поезд в любом направлении — и ищи меня, свищи!”. “Правильную” мысль бежать в отделение милиции за “Макдональдсом” я уже отбросил: далекоовато, может не хватить сил, а парни куда моложе и здоровее.

Я уже стремительно подходил к углу Петровского и Большой Дмитровки, как из припаркованной справа прямо на тротуаре “мицубиши” вылезли ещё четверо, с такими же короткими стрижками, как и у преследовавшей меня команды “чёрных”. Характерно топорщившиеся их ветровки и кожанки не оставляли сомнений, что под ними бронезилеты или подмышечные кобуры.

“Капкан! — с отчаянием понял я. — А ты думал, что всех перехитрил?!”. Рычание “лендровера” за спиной приблизилось и стихло. Я оглянулся. Парни вылезали из джипа. И ни одного прохожего! Въездных ворот Совета Федерации отсюда не видно, а стало быть, и охране не видно, что происходит здесь.

Ко мне двинулся небритый плечистый мужчина из “мицубиши” — видимо, старший.

— Э-э, пацаны, вы чего? — раздался у меня за спиной голос с кавказским акцентом. — Отойдите от этого мужика!

— Не понял, — с угрожающим недоумением сказал небритый. — Это ты мне, козёл? Следи за базаром! Ты хоть знаешь, что такое “пацан”? Это от слова “поц”, что по-еврейски означает “член”. Ты чо, крови хочешь? — И откуда-то из-за спины он выхватил пистолет.

Парни из его команды тут же последовали его примеру. А один быстро сунулся в заднюю дверь “мицубиши” и вытащил АКМ, громко, на публику, передёрнул затвор. “Чик-чик-чик”, — защёлкали взводимые курки. Я посмотрел через плечо. “Чёрные” тоже оцетинились стволами.

— Да вы кто, пац... э-э-э... парни? — недоумевал их предводитель, направив пистолет на знатока этимологии слова “пацан”. — Откуда вы нарисовались? Что вам вообще надо?

— Я не знаю, чего вам надо, а нам нужен вот этот мужик, — ткнул в меня пальцем небритый. — Так что садитесь в свой мудацкий джип и езжайте туда, откуда приехали.

— Ты очень крутой, да? От тебя уже трупом пахнет, знаешь? Этот мужик наш.

— Так попробуйте возьмите его, если он ваш.

— Ребята, давайте я оставлю вам свой телефон, — вмешался я. — Вы разберётесь между собой, а потом встретимся, посидим. А сейчас я лучше пойду.

— Стой, где стоишь, сука! — приказал предводитель “чёрных”. — Парни, мы первые на него вышли. Он — наш! — И сделал шаг ко мне.

— Стоять! — истерически закричал небритый.

В этот момент меня словно палкой хлестнули по ушам. Оглушительно шарахнул выстрел. Видимо, у кого-то за моей спиной не выдержали нервы. В кого стреляли, я понять не успел. Главное, не в меня. Я упал на асфальт на подставленные руки, как учили в армии. И вовремя — надо мной уже трещала отчаянная пальба. Длинными, истеричными очередями бил “калашников”. Словно медяки, извергающиеся из игрального автомата, звенели отстрелянные гильзы. Кто-то тяжело рухнул рядом со мной на землю. Я открыл один глаз. Это был небритый. Он хрипел, бился, как большое животное, сучил ногами в судорогах. В острый запах пороха густой струёй вливался жирный запах крови, которую он размазывал по асфальту.

Небритый затих. Сзади кто-то ещё свалился на землю. Тонким, мелодичным посвистом свистели пули, — казалось, отдельно от выстрелов. Звенели выбитые стёкла. Кричала какая-то женщина. Я вспомнил, как передвигаются по земле герои боевиков, и стал перекатываться с боку на бок, стремясь оказаться на противоположной стороне переулка. Мне это довольно быстро удалось (значит, не всегда в боевиках врут). Завыла сирена. Я увидел краем глаза, как из подворотни Совета Федерации выбегают, наконец, бойцы

ФСО\* с автоматами. Они падали на землю и тут же открывали огонь. Я ско-сил глаза вправо. Там взрброс валялись уже три тела. Остальные скрылись за машинами и палили оттуда во все стороны. Рядом со мной, тяжело звякнув, плюхнулся кто-то. Это был автоматчик в бронжилете.

— Ты живой? — спросил он.

— Вроде живой.

— Не ранен?

— Нет.

— Ползи за угол отсюда! Я тебя прикрою.

Но мне это предложение не понравилось. Ползать по асфальту — не приведи Бог! У меня и так уже ладони были содраны в кровь при падении. Я вскочил и, согнувшись, быстро побежал вдоль стены. Пули крошили штукатурку позади меня и над головой. Меня даже обсыпало ею. Боец, прикрывавший меня, ответил очередью.

Забежав за угол, я перевёл дух, а потом, прижавшись к стене, осторожно выглянул. Положение братков было незавидное. Их уже лежало на асфальте пятеро, причём трое — “чёрных”. Шофер “лендровера” пытался завести двигатель, одновременно стреляя из окна в автоматчиков. Мотор взревел, но боец ФСО пустил в машину гранату из подствольника. Джип подпрыгнул от взрыва, окутываясь дымом, окровавленный водитель вывалился до половины из окна. За изрешеченной пулями “мицубиши” отстреливались двое оставшихся бандитов, в том числе автоматчик. На Большой Дмитровке образовалась стихийная пробка, машины сталкивались, истощно визжали тормоза, одни водители бросали свои автомобили и бежали в безопасное место, другие в ужасе сигналили непонятно кому.

Я решил не дожидаться конца боя и побежал, как и предполагал вначале, на другую сторону, прячась за автомобилями. Отовсюду, на разные лады, выли ментовские сирены, где-то наверху, невидимый, стрекотал вертолёт. Подтягивалась вся королевская рать — как всегда, к концу заварушки. Через полчаса прилегающие улицы будут забиты спецназом в беретах всевозможных цветов, потом появятся, задыхаясь в бронжилетах под кителями и костюмами, начальники ГУВД и УФСБ Москвы, а потом их начальники, федеральные министры. Все они, прямо ответственные за то, что Москва стала осиным гнездом бандитов, ведущих перестрелки прямо у зданий высших государственных органов, заявят о большом вкладе их ведомств в операцию по ликвидации вооружённых преступников. О полудюжине бойцов ФСО, принявших бой как настоящие солдаты и мужчины, без раздумий и колебаний, по телевизору скажут, может быть, только сегодня, а завтра уже не станут. Потому что если бы так же решительно действовали многочисленные УБОПы, раскрашенные спецназы и полки внутренних войск, никаких вооружённых банд в стране давно бы уже не было. А честным служакам ФСО вручат именные часы и премию по две с половиной тысячи рублей каждому. А убитым и раненым достанется компенсация на похороны или лечение.

\* \* \*

До метро я добрался быстро и без приключений, забыв, правда, приветить себя в порядок. Отряхивался уже внизу, на платформе, заметив странные взгляды пассажиров на мою одежду и руки. Здесь, под землей, вряд ли кто-то знал о происходящем на углу Петровского переулка и Большой Дмитровки. Я желал только одного: где-нибудь спрятаться в большой Москве. Но где? О том, чтобы найти безопасность в милиции, я уже не думал. После необъяснимо свирепой бойни, в которой меня чудом не пристрелили, это представлялось столь же нереальным, как если бы я в 1941 году попросил милицию защитить меня от гитлеровского нашествия. Меня, никому не известного Кольванова, разыскивали две группировки до зубов вооружённых бандитов,

---

\* ФСО — Федеральная служба охраны правительственных зданий и объектов государственной власти.



а ведь есть ещё, судя по всему, и третья, которая и совершила убийство Николая и похищение чемоданов. А может, есть и четвёртая, к которой принадлежат Шматько и Юлия Безносова. Или пятая — к которой принадлежал Николай. Разве может меня защитить государство, едва-едва защищающее само себя, что я сам видел у здания СФ? Ну, пойду я, сдамся ментам, чтобы спасти себе жизнь, но кто знает, кого потом посадят ко мне в камеру? Иногда, как известно, дают столько, что невозможно не взять. А в Лефортово меня не повезут: невелика птица. Скорее же всего, ни в какую тюрьму менты меня сажать и не подумают, а захотят использовать в качестве живца — как Семён-Семёныча Горбункова из “Бриллиантовой руки”. Нет уж, увольте! Милиция меня сама найдёт, если, конечно, останется в живых кто-то из восьми бойцов криминального фронта, знающих моё имя. Но это вряд ли: ФСО совершенно не обязана брать таких живьём.

Но куда же мне идти, если не в милицию? К родителям, живущим на другом конце Москвы? Не хватало ещё впутывать стариков! Приятелей, которых бы я не стеснил своей просьбой приютить меня, у меня не было, а если бы и были, то как им объяснить, почему я, имея отдельную квартиру, хочу пожить у них? И вообще, мне в пору думать не о том, где спрятаться на какое-то время, а о том, где провести сегодняшнюю ночь.

Ну а если у Вики? Есть у меня подруга, Виктория, с которой я живу. Ну, “живу” — это довольно сильно сказано: иногда, где-то раз в месяц, мы встречаемся — у меня или у неё. Со времени нашей последней встречи как раз прошло около месяца. Значит, будет естественно, если я зайду. Звонить я ей не стану, а то она начнёт кокетничать, кочевряжиться, набивать себе цену. Нагряну как снег на голову. Вообще, она человек неплохой, только какая-то перекрученная. Ей не даёт покоя мысль, что её считают неудачницей. Причём ей, насколько я понимаю, довольно безразлично, если так думают о ней те, кто имеет на это некое право — то есть дамы богатые, замужние или просто знаменитые. Но ей далеко не безразлично, если эту точку зрения разделяют люди, равные ей — то есть неудачники. Например, я. Вика — интеллигентный, начитанный человек, и я, быть может, даже бы чаще встречался с ней, если бы она меня не мучила разговорами о своих богатых, знаменитых друзьях. Это она мне так моё место показывает. Чтобы я не думал, значит, будто она пускает меня в свою постель от того, что пускает ей больше некого. Хотя это чистая правда. Нет, Вика довольно интересная женщина, и мужики на неё на улице посматривают. Но сама-то сходитья с мужчинами просто так, “переспали-разбежались”, она из чувства самоуважения давно уже не может, а “не просто так”, как правило, не очень хотят мужики. А если и хотят, то вовсе не по той причине, почему этого хочет Виктория. Ей нужно если не замужество, то “глубокие отношения”, а женатым мужикам, готовым заглядывать к ней раз-два в неделю, нужен лишь освещающий секс “на стороне”. Вика, при всей её манерности, вообще-то не против секса, особенно когда говорить ей с тобой уже не о чем, и свет потушен. Я бы даже сказал, что она женщина темпераментная. Но предоставлять какому-нибудь “ходоку” своё тело для регулярных наслаждений она не желает принципиально. И тут нет ничего удивительного: все женщины, будь они проститутками, “честными давалками” или даже верными жёнами, исходят из одного и того же принципа — за наслаждение их телом мужчина должен платить. А платить наш брат, как известно, не любит.

Я не могу назвать наши отношения с Викой глубокими, но и не сказал бы, что они носят исключительно сексуальный характер. Я в жизни Вики — ни то, ни сё. Я ей совершенно не нужен и одновременно необходим. Разгадка этого парадокса, в принципе, известна и Вике, и мне, но именно её она передо мной тщательно скрывает. Мы сошлись, потому что мы одинаковые. У нас даже работа одинаковая — только я редактор в журнале, а она в издательстве. Мы оба живём в однокомнатных клетушках и не любим без особой нужды выходить на улицу. Ни у неё, ни у меня своей семьи никогда не было (хотя замужем Вика была, и даже два раза, но каждый раз столь недолго, что большее время её так называемой семейной жизни занимали процессы регистрации и развода). У нас нет никаких способностей для успеш-

ной жизни в капиталистическом обществе. И мы, в общем, в такой жизни и не нуждаемся, потому что не те наши годы, чтобы плясать под дудку какого-нибудь поганого “босса” в надежде когда-нибудь спихнуть его с занимаемого места. наших скромных зарплат и побочных заработков нам вполне хватает для удовлетворения наших скромных потребностей. Мы оба — “лузеры”, неудачники.

Что ж, казалось бы, мы идеальная пара, — особенно в свете моих представлений, какая мне нужна подруга. Но! Женщина всегда остаётся женщиной, даже такая, как Виктория, а среди равных всегда бывают первые. Да, мы оба редакторы, но я “зав”, то есть какой-никакой, а начальник, член редколлегии, а Вика — “старший редактор”, что означает в переводе на обычный язык “литературная рабыня”. Работа моя — для меня не самое главное, я творческий человек, и известен в этом качестве не менее, чем в качестве завлитотделом “Новой России”. Вика же, писавшая стихи (и пишущая, как я предполагаю, до сих пор), даже не может позволить себе работать в отделе поэзии, потому что таких отделов уже не существует даже в самых богатых издательствах. Она служит в отделе прозы, но, Бог мой, что там за проза! Это невыносимо унижение для человека, когда-нибудь в своей жизни читавшего Чехова или Бунина. А у нас в “Новой России”, в общем, интересная проза и интересная поэзия. Я дарю Вике свои опубликованные произведения (есть такая привычка у нашего брата-литератора: таскать в сумке по несколько книг или журналов с публикациями, чтобы одаривать ими “нужных” и даже ненужных людей), а чем мне может ответить Вика? Книжечкой стихов, которую она издала за свой счёт несколько лет назад и еле смогла за неё расплатиться? Ну, подарила она мне её при знакомстве, я прочитал, похвалил, собака (а как не похвалить, если секса у нас ещё не было?), хотя женских стихов, за редким исключением, терпеть не могу. Глаза Вики заблестели, но вижу, она ждёт чего-то ещё. Я молчу, хотя отлично знаю, чего. Она ждет, что я предложу ей напечататься в “Новой России”. Но я личное с профессиональным стараюсь не смешивать. И не только потому, что я такой принципиальный, а потому, что протекционизм приносит множество неудобств. Напечатаешь, потом не отвяжешься. Ведь графоманы не знают меры, аппетит приходит у них во время еды. Даже если бы Виктория сама мне предложила подборку, я бы рассмотрел её в “общем порядке”. Но она, впрочем, не предлагала — гордая.

Очевидно, всё это в совокупности и заставляет Викторию передо мной ломаться. Начинается этот цирк обычно так. Она спрашивает с какой-то даже задушевной интонацией: “Ну, что подельываешь, Кольванов? Что в жизни интересного?” Первое время я попадался на эту удочку и начинал добросовестно делиться новостями своей небогатой на новости жизни. Но Вика слушала меня не более пяти минут, да и то невнимательно — смотрелась в зеркало, поправляла что-то в одежде, а потом говорила: “Кстати... (хотя никакого отношения это “кстати” к моему рассказу не имело) на днях мы с моей подругой с Рублёвки...”

Роман с продолжением под названием “Светская жизнь Виктории Шестопаловой” я выслушивал аккуратно раз в месяц, а раньше так даже чаще. Он напоминал тошнотворный телесериал про некрасивых похотливых баб “Секс в большом городе” — только, слава Богу, без секса. Все остальные атрибуты — ночные клубы, рестораны, загородные виллы, VIP-приёмы, презентации, вернисажи, модные премьеры, концерты знаменитостей — присутствовали. С обстоятельностью, поначалу совершенно не понятной мне, Виктория рассказывала, *как живут люди*, не упуская при этом давать подробные описания их апартаментов, украшений, мебели, каминов, бассейнов, ванн, туалетов, кухонных технических приспособлений и даже компьютеризированных котельных в подвалах, — словно она спускалась в эти самые котельные. В каких-то “новорусских” домах и компаниях Вика, может быть, и была (её издательство гнало серии типа “Рублёвка-лайф”, “Мемуары рублёвских жён”), но, в общем, конечно, пела с чужого голоса.

Во время нашего знакомства (а оно произошло в её издательстве, куда я безуспешно пытался пристроить книжонку) Виктория показалась мне че-

ловеком неглупым, — она довольно остроумно размышляла о так называемой современной литературе, в том числе и о той, что ей, бедной, приходилось править. Поэтому, выслушав её первую “VIP-историю”, я был несколько обескуражен и простодушно спросил: “Ты что, хотела бы жить так же?”. Она помолчала, явно уязвлённая, и ответила не без запальчивости: “А ты думаешь, я бы не жила так же, если бы захотела? Да ты знаешь, кто звал меня замуж?.. Но я решила, что жизнь с богатым мужем для меня слишком хлопотна и заставит отказаться от многих старых привычек, выработанных одиночеством”. “И я тоже так решил про будущую жену! — заржал я. — Причём не успев ещё стать богатым женихом”. Вике моя шутка явно не понравилась, она нахмурилась и назидательно заметила: “А вот ты решил неправильно. Потому что устройством яркой, интересной и обеспеченной жизни всегда занимались мужчины. А у людей, вроде тебя, закрытые горизонты. Вы смирились с ролью нищих обывателей, не хотите вылезать из своих коконов. Ты вот рассказывал мне, что у тебя нового, а я думала: какие у него бедные впечатления, разве можно с такими что-то написать? Вот послушай, что я недавно видела...” — и она взялась за новый VIP-сюжет.

Ну, тут я всё понял. То, что мне приходилось выслушивать, являлось обратной стороной секса с Викторией. А у него всегда есть обратная сторона; я столкнулся ещё не с самой худшей. Так что можно было и потерпеть. Но терпеть это часто я всё же не захотел.

Покатавшись в метро с полчаса, чтобы малость придти в себя, я вышел на Преображенке и отправился в пивбар, потому что Виктория всё равно была ещё на работе. По пути я заглянул в аптеку и купил йоду и ватных палочек. В туалете бара я вымыл руки, лицо и обильно, шипя от боли, смазал йодом ссадины на ладонях. Для дезинфекции это было уже поздно, зато йод хоть подсушит ранки, не будут сильно гноиться. Ладони мои после произведённой процедуры производили страшноватое впечатление. Сидя за столиком в ожидании пива, я всё время держал руки на коленях. Ну, ничего, пятна от йода недолговечны.

Опустошив разом одну кружку, я тут же заказал вторую. Думать о мрачной истории, в которую я попал, мне совершенно не хотелось. Меня тошнило при одной мысли о ней. Я бездумно, в приятной расслабленности потягивал пиво, отдыхал. Но не тут-то было! Бармен включил телевизор над стойкой, и начался выпуск дневных новостей. С волнением, близким к восторгу, ведущая блядского вида выпалила анонс: “Новость последнего часа! Кровавая бандитская разборка в столице вблизи от Совета Федерации, Генеральной прокуратуры и Петровки, 38!”. Все посетители бара разом повернули головы к телевизору. На экране замелькали кадры побоища в Петровском переулке, дымящиеся “мицубиши” и “лендровер”, разбитые стёкла домов и выщербленные пулями стены, окровавленные трупы братков. Никто из них, как я и предполагал, не выжил. У бойцов ФСО, слава Богу, было лишь двое раненых. Сведений о жертвах среди населения не поступало. Одна шальная пуля разбила стекло в кабинете главного редактора журнала “Новая Россия” Александра Мишарина и уже на излёте брякнулась ему в чашку с чаем. “Как вы отреагировали?” — интересовался у Мишарина корреспондент. “Попросил принести мне новую чашку”, — ответил тот, пожав плечами и перебирая чётки.

“И это, к сожалению, — без всякого сожаления продолжала ведущая с разбитными глазками, — не единственная новость из криминальной хроники жизни Москвы. В столице началась настоящая охота за гражданами Украины. Как мы сообщали в утреннем выпуске, вчера вечером был застрелен некто Николай Гарькавый. Сегодня же, ближе к полудню, в Битцевском лесопарке был зверски убит ещё один украинский гражданин, которого, согласно найденному паспорту, звали Олег Шматько. Очевидно, убийцы перед смертью сильно пытали свою жертву. Многие предполагают, что это новое преступление Битцевского маньяка”.

Я даже подпрыгнул на стуле, расплескав пиво. На экране появилось истерзанное тело Олега, лежащее под деревом. “Ближе к полудню!” Где-то в это время мне и ответил по мобильному Шматько неизвестный голос.

Я с ужасом перекрестился, не обращая внимания на любопытные взгляды посетителей. Умом-то я и раньше понимал, что Олег, скорей всего, теперь не жилец, но одно дело понимать, а другое — видеть. Прощай, мой неунывающий приятель! Может, Господь за мученическую смерть и простит тебе твои грехи. Ты был ловчилой и, может быть, мошенником, но не бандитом. Больших успехов твои махинации тебе не приносили. Твой последний бизнес оказался самым неудачным из тех, за которые ты брался.

“Министр иностранных дел Украины Борис Карасюк, — тараторила ведущая, — уже заявил протест в ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Совбез ООН в связи, как сказано, “с истреблением украинцев в России”. Между тем, если род занятий Олега Шматько предстоит ещё установить, то начала, благодаря запросу в интернете, появляться кое-какая информация об убитом накануне Николае Гарькавом. Вот снимок из интернет-версии газеты “Украинская правда”. Он сделан во время прошлогодних событий в Киеве на Майдане Незалежности. На трибуне, неподалёку от президента Юрченко и премьера Тихоненко, между певицей Русланой и боксёром Виталием Кличко, стоит некто, являющийся, согласно подписи под фото, Николаем Гарькавым. Специалисты МВД считают, что это именно тот человек, что найден вчера убитым в Москве. Уже сделан соответствующий запрос украинским коллегам”.

Специалисты МВД не ошиблись: человек, обведённый кружком на снимке, действительно, был Колей. Я подозвал официанта и заказал двести граммов водки. Неужели меня ждёт то же самое, что Гарькавого и Шматько? Хоть бы не пытали! Но ведь обязательно будут пытаться: судя по горячему желанию сразу двух бандитских групп заполучить мою персону, узнать у Олега о судьбе чемоданов не удалось.

Я вспомнил о своём выключенном мобильном. Наверняка в нём полно SMS-сообщений от гангстеров! С замиранием сердца я включил телефон. И не ошибся: он сразу зажуужжал, как майский жук. Первое письмо пришло как бы от Шматько: “Позвони мне немедленно. Олег”, но отправлено было примерно в то время, когда я покидал редакцию, а Шматько уже был мёртв. Второе гласило: “Если ты не позвонишь, то можешь попрощаться с жизнью”, и не имело подписи, но отправлено было опять же с телефона Олега. Третье било рекорды лаконизма: “Последнее предупреждение!”. Прочие, около полудожини, были более пространными, но в том же духе, да ещё угрожали неотвратимым возмездием “за то, что случилось с нашими товарищами” (как будто мне было не всё равно, просто они меня убьют или в целях возмездия). А вот последняя “эсмэска” была принципиально иной по тону и, я бы даже сказал, деловой: “Предлагаем договориться на обоюдных условиях. В случае согласия связаться по этому тел. Желательно не откладывать”. Телефон был тот же, шматьковский.

Официант принёс мне водку не в графинчике, не в двух стопках, а в стакане для виски. Я отхлебнул изрядный глоток, запил апельсиновым соком и задумался. Если кто-то из этих горилл предлагает договариваться (пусть это и уловка), стало быть, они уверены, что я прямо причастен к уничтожению их бандгруппы в Петровском. А ведь на этом можно сыграть! Тут ожил мой мобильник. Я немедленно выключил его, сделал ещё глоток и закурил. Водка, “прицепленная” к пиву, принесла чувство лёгкости и свободы. Эх, помирать, так с музыкой! Попадись я к ним в руки, меня будут терзать в любом случае, правду я говорю или нет. Я с ходу придумал такое SMS-сообщение: “Условия буду ставить я. В случае нового дурацкого наезда контакты прекращаю и работаю с вами по вашей же схеме. Хотите?”. Часть моего сознания, всегда подвергающаяся сомнению первое решение, сказала: “Ты увязнешь всё больше и больше в этих чужих страшных играх. Иди, наконец, в милицию!”, на что другая часть, взбодрённая водкой с пивом, насмешливо указала, что в своё время первое решение было — именно идти в милицию, но оно было оспорено, как теперь оспаривается решение действовать наудачу. Нельзя же всё время метаться из стороны в сторону! Нужно кинуть жребий. Я вытащил монету, поставив орла на SMS, а решку — на милицию. Подброшенный рубль приземлился на край стола (как я успел заметить — решкой), отскочил и упал на

пол — орлом. “Отскоки тоже случайными не бывают”, — решил я, включил телефон и отправил наглухо “эсэмэску”. После чего на всякий случай удалил её из “памяти” исходящих номеров и снова выключил мобильник.

Чувствовал я себя прекрасно, как всякий человек, решивший больше не мириться с унижениями, хотя, может быть, это всего лишь иллюзия успеха. Тут мой желудок, наполненный лишь пивом и водкой, настойчиво напомнил, что я с утра почти ничего не ел. Я выпил большую чашку чёрного кофе, съел несколько бутербродов, расплатился и пошёл к Виктории.

Как и следовало ожидать, театр одного актёра в её исполнении начался практически с самого порога. Хотя некий, едва уловимый блеск в томных, почти немигающих глазах Вики мне сказал, что мой приход едва ли уж так ей неприятен. Она демонстративно всплеснула руками, а потом упёрла их в боки.

— Ты почему без звонка? И почему ты решил, что обязательно застанешь меня дома? Ты что, думаешь, я вот так сижу целыми днями и жду тебя, да? А если бы я была не одна?

— Виктория Никитична, может, я пройду, а то как-то не по-русски на пороге разговаривать?

— Да от тебя ещё и спиртным пахнет! — потянув носом, возмутилась она, но посторонилась. — Я не твоя жена, а это не твой дом, чтобы приходить сюда пьяным.

Протискиваясь мимо Вики, я обнял её за талию и прижал к себе.

— Я соскучился.

Она ударила меня по рукам, но не скажу, чтобы сильно, и сощурилась, явно стараясь угадать по моему виду, не лгу ли я.

— Соскучился? Или застоялся?

— Скорее, забегался, — честно ответил я.

— И решил добежать до меня? Но почему всё-таки без телефонного звонка?

— Чтобы избавить тебя от необходимости два раза говорить одно и то же, — шутил я, по-прежнему не снимая рук с округлых бёдер Виктории, несмотря на протестную возню её рук. У женщин бывают разные эрогенные зоны, а вот Вика тает, когда обнимаешь её за талию и бедра. — Ведь ты же сказала бы мне по телефону то же самое, что и сейчас, правда?

— Пошёл к черту! — Она крутанула бёдрами в моих руках, как рыба хвостом. — Ты мне не ответил на вопрос: почему ты был уверен, что застанешь меня дома и одну?

— Потому что ты дома и одна.

— Жду тебя, стало быть? Слушай...

— Мне было бы лестно думать, что ты ждешь меня.

— А мне было бы что лестно? Я должна тебе сказать, что ты не всё предусмотрел. У меня... как бы тебе это сказать... в общем... если ты нуждаешься в моём обществе, то тебе придётся ограничиться беседой со мной.

Не знаю, что это было, правдой или очередным воспитательным приёмом по отношению ко мне, но меня вполне устраивала и беседа (даже с VIP-историями), лишь бы остаться здесь ночевать.

— Идёт! — кивнул я. — Викуша, ты ошиблась, я предусмотрел и этот случай, зашёл к вам в магазин и купил бутылочку коньяку. Посидим рядком, поговорим ладком.

Викины брови поднялись, а глаза заметно потеплели. Бедные женщины! Они слишком доверчивы, даже такие, как Виктория.

Я прошёл в комнату, плюхнулся на диван. По телевизору передавали вечерние новости — и опять про побоище в Петровском переулке. Я навострил ухо: не сообщают ли чего нового? Виктория бочком присела на стул — с мягкостью кошки, приседающей перед тем, как броситься на мышшь.

— Ну, что подельваешь, Кольванов? — нараспев спросила она. — Что в жизни интересного?

— Да вот, — небрежно кивнул я на экран, — выхожу я по делам с работы, а тут у нас в переулке начинается стрельба. Восемь трупов. Чуть не стал девятым.

Глаза у Вики расширились.

— Так это же... — пробормотала она, глядя в телевизор, — так это же, действительно, рядом с твоей работой...

Что ни говори, а это была новость, перед которой будущая VIP-история Вики несколько тускнела.

Я же ничего нового по сравнению с дневным выпуском не услышал, в том числе о Гарькавом и Шматько.

— Подожди, — воскликнула Виктория, — а ведь этого... украинца... убили вчера на твоей улице... у твоего дома!..

— Да, представляешь! С вечера до зари одни трупы, Викуля! Иду вчера — а он лежит прямо у подъезда! Наверное, мужа твоих приятельниц с Рублёвки проблемы бизнеса решают.

Я ударил её в больное место: и так-то “рублёвская тема” сегодня “зависла”, а я ещё опошлял её своими шуточками.

— Обыватели всегда склонны считать преуспевающих людей преступниками, — без обычного запала сказала Вика. Да, я, конечно, продолжал оставаться для неё обывателем, но всё-таки обывателем, вчера и сегодня ставшим свидетелем далеко неординарных событий.

— А как нам ещё быть? — говорил я, с хрустом свинчивая голову коньячной бутылке и ища глазами рюмки. — Вам, людям избранным, Рублёвка открывается с парадной стороны, а нам, обывателям, со стороны морга.

— Уж не завидуешь ли ты? — пустила в ход последний аргумент Виктория. Она со звоном поставила передо мной рюмки, повернулась спиной и ушла на кухню — резать принесённый мной лимон.

— Конечно, завидую! Когда я сегодня лежал на грязном асфальте под бандитскими пулями, то думал: хорошо бы лежать сейчас на пляже в Тенерифе!

— Хоть что-то произошло в твоей жизни неординарное! Ты думаешь, я поверила, что ты лежал под пулями? Есть люди, с которыми никогда не случается ничего интересного. Ой! — с неподдельным испугом воскликнула вошедшая Вика, увидев мою ладонь, протянутую за блюдечком с лимоном. — Ой, а что это с твоей рукой? Ты что, правда, упал на асфальт?

— Да, срунда, там больше йоду намазано.

Она, добрая, в сущности, душа, присела участливо рядом со мной, положила мою руку к себе на колени.

— Вася, ну извини, я, не подумав, сказала. Что, очень больно было?

— Да нет, я к этому привык с детства. Плохо только, что на этих местах ссадины гноятся долго.

— И ты, правда, лежал под пулями?

— Лежал. Но недолго. Я вот так покатился к другому тротуарчику, а там уж прибежала охрана из Совета Федерации, прикрыла меня.

Викториа погладила мою ладонь, а я, пользуясь моментом, поцеловал её в плечико. Она как бы невзначай прикрыла глаза. Её сомкнутые веки трепетали. Коньяк был забыт, VIP-истории тоже.

Мы целовались и постепенно избавлялись от одежды. Узкий диван, который нам недосуг было раскладывать, от этих движений ходил ходуном, а потом, когда мы, поворочавшись, как-то приладились другу к другу и обрели общий ритм, начал стучать, словно дятел, в стену. Под эти стуки, скрипы и качку наше утлое судно двинулось в путь...

Было, как всегда с Викой, горячо и сладко.

Мы лежали, тесно обнявшись, на диванчике. Нагая Виктория выглядит куда лучше одетой, что вообще не очень характерно для современных женщин. Ноги стройные, белые, гладкие, живот чуть обозначен, талия тонкая, нежные, полновесные груди с небольшими крепкими сосками. Лицо и кожа на шее выдают, конечно, её возраст, но мне на это плевать. Мало у меня, что ли, признаков не первой молодости?

Она, прошептав что-то типа: “Васенька”, уснула на моём плече. Рот её приоткрылся, как у рыбы. Я же, забывшись поначалу в тонком сне, вдруг вздрогнул от проступившего где-то в глубине моего мозга слова “чемоданы”. Воспоминания о событиях вчерашнего и сегодняшнего дня снова навалились

на меня. Я, побряхтев, придерживая лицо Виктории ладонью, осторожно освободился из-под тяжести её теплой ноги и захлестнувшей мою шею руки, нашёл в брошенных на пол брюках мобильник и пошёл на кухню. Открыл “Входящие звонки”.

Последняя полученная “эсэмэска” почти повторяла название известной телепередачи: “Где? Когда? Сколько?”.

\* \* \*

Я на цыпочках вернулся в комнату за коньяком, налил себе чашку, выпил. Покурив, подумав, я дал такой ответ: “Поспешись — людей насмешишь. Для начала я должен убедиться, что вы прекратили охоту за мной”. Потом я, поджав ноги, пристроился на кухонном диванчике и уснул.

Среди ночи Виктория проснулась, увидела, как я сплю, скрючившись, и снова пожалела меня. Она разложила диван и позвала меня к себе. Мы легли, как муж с женой, — на простынях, под одеялом, в обнимочку. Освежённая сном после трёх выходов в открытый космос, Вика стала потихоньку ласкаться ко мне, что она, гордячка, делает нечасто. Пришлось отогнать дремоту. Впрочем, насчёт “пришлось” я лукавлю. Нет никого лучше Виктории, если она заведётся. На широкой постели Виктория — как птица, как распахнутая книга. В юности она занималась гимнастикой. Ног её под собой не чувствуешь, и своего тела тоже, будто летишь в морской волне.

...Когда я утром открыл глаза, то увидел над собой бледную Вику с моим мобильником в руках (я опрометчиво оставил его на кухонном столе). Раньше женщины изучали паспорта спящих мужчин, а теперь ещё читают их телефонную почту.

— Вася, ты что, сильно задолжал кому-то? — упавшим голосом спросила Виктория. — Или связался с преступниками? Кто на тебя ведёт охоту? Это имеет отношение к вчерашней перестрелке?

Я матюкнулся про себя — не стёр свою последнюю “эсэмэску”! Не говоря уже о входящих.

— Вика, ну что за манеры? — простонал я. — Ты же интеллигентная женщина. Это просто шутки.

— “Можешь прощаться с жизнью” — это шутка? И “последнее предупреждение”, и “то, что случилось с нашими товарищами” — тоже шутки? Что-то не смешно.

Телефон в её руках зазвонил. Она с ужасом, как будто это тарантул, бросила его ко мне на одеяло. Я отключил мобильник и откинулся на подушки. Почему-то спросонья, что ли, мне было всё безразлично.

— А хорошо вчера было, Викуля! Иди лучше сюда, гимнасточка, — я похлопал рукой по постели.

— Да пошёл ты на фиг, Кольванов! Ты во что меня втягиваешь? Теперь твои друзья, которые так неудачно шутят, придут ко мне?

— Не придут, — махнул я рукой. — Если бы знали, где я, давно бы уже пришли.

— Вот почему ты вдруг заявился! — прозревала несчастная Вика. — “Соскучился”! А ему спрятаться надо было!

Я вздохнул и сел на постели.

— Ну, спрятаться!.. Ты же мне не чужая. К чужим не приходят прятаться.

Бледная Вика присела рядом со мной.

— Вася! Рассказывай мне, во что ты вляпался.

— Ты не поверишь, но нечего рассказывать! Бессмысленное стечение обстоятельств. Бессмысленное, как моя жизнь.

— Ты что, решил заработать денег какой-нибудь аферой?

Я поморщился.

— Вика, ну ты же меня знаешь...

— Нет, я поняла, что я тебя не знаю! “Предлагаем договориться на обоюдно выгодных условиях”, “Где? Когда? Сколько?”... Что это?

Ну, что мне, прикажете рассказывать ей про эти дурацкие чемоданы? Толку-то никакого. Начнётся песня про милицию, которая мне самому надоела.

— Поверь, я сам не знаю, что это. Я блефую.

Виктория нахмурилась, отвернулась. Судя по её напряжённо поднятым плечам, она о чём-то размышляла.

— Что с тобой произошло? — наконец спросила она. — Тебе надоело вести честную жизнь? Решил разбогатеть? Но разве это жизнь? — она указала на мобильник. — Точно из тех проклятых романов, которые я редактирую.

Ах, вот так! Теперь, стало быть, вместо наставлений о том, что надо жить интересно и красиво, я буду выслушивать поучения о пользе скромной и честной жизни! Ах, Виктория, ах, педагог!

Я взял её за дрожащую руку.

— Вика, ты можешь мне поверить?

Она повела плечом.

— Не знаю. Ну, допустим, могу.

— Дело не в деньгах. С моей, по крайней мере, стороны.

— А в чём же? Ты борешься за идею? — сыронизировала она.

— За идею? — задумался я. — Да, можно сказать и так. Именно за идею!

— Что же это за идея?

— Если коротко: зло должно быть истреблено. Но не мной.

— А кем?

— Желательно — злом же.

— Не понимаю. Ты что — мстишь кому-то?

— Не знаю. Может быть. Ведь убили не только украинца у моего дома. Убили Олега Шматько. В Битцевском лесопарке. Перед смертью его сильно пытали.

— Да, я слышала... А кто это — Шматько?

— Мы сидели как-то вместе... Лысоватый такой крепыш из Одессы.

— Как? — всплеснула руками Виктория. — Этот балагур?!

Я мрачно кивнул.

— Но кто его убил? За что?

— На данном этапе это могу узнать только я, потому что они связываются исключительно со мной. — Я кивнул на мобильник.

— Но почему именно с тобой?

— Они думают: у меня есть то, что они рассчитывали взять у Шматько.

— А у тебя это есть?

— Нет.

Виктория взялась за голову.

— Ничего не понимаю. Да во что ты, в самом деле, впутался?

— Это уже не так важно. Важно то, что у убийц есть конкуренты, которые ищут то же самое, что было у Шматько. Они уже начали убивать друг друга. И вот я думаю: а может, так и надо?

Виктория мигнула. В глазах её появилась какая-то мысль.

— Слушай, Кольванов, а может, ты детективный роман сочинишь и морочишь мне голову?

— Ну, если убитые Гарькавый и Шматько и трупы в Петровском переулке придуманы телевидением, то тогда, действительно, они часть моего сценария.

— Да что ты о себе возомнил? Ты же типичный интеллигент! Что ты можешь?

— Ну, не совсем типичный. Не убили же меня в Петровском. Да ты не бойся! Я больше сюда не приду.

Вика искоса бросила на меня быстрый взгляд.

— Не в этом дело. Послушай, ну а что же милиция?

Началось!

— Насчёт милиции я не знаю, — пожал я плечами. — Я стоял возле своего подъезда, у трупа приятеля Шматько, а милиция прогнала меня, не задав ни одного вопроса.



— Ну, а потом?

— Потом уже было поздно. Я бы сам стал подозреваемым. В лучшем случае меня бы задействовали в качестве приманки. Но чем это отличается от моего нынешнего положения? Только потерей свободы манёвра.

— А ты ничего не усложняешь?

— Усложняю. Причём занимаюсь этим всю свою жизнь. И теперь уже мне поздно меняться.

Мы замолчали. Виктория уставилась в пол. Очевидно, и прочтённые “эзэмэски”, и разговор по этому поводу произвели на неё сильное впечатление. И едва ли, конечно, благоприятное. Наконец, она встряхнулась и сказала:

— Но что же делать? Мне нужно идти на работу.

На работу она ходила к десяти часам, а я к — одиннадцати. Бедная Виктория: и здесь выходило неравенство!

— Так иди, а я, с твоего разрешения, выйду на часик попозже. Дверь захлопну.

Она поджала губы и отвела глаза.

— Ты что — боишься, что ли?

Виктория промолчала. Но по глазам её я видел: да, боится.

— Да ведь пока нас не увидели вместе, тебе, наоборот, безопасней! — Я встал и нагишом подошёл к окну. — Никого там нет! А в подъезде, если хочешь, я проверю. Ты пойми: я ушел с Петровского в такой ситуации, когда просто некому было за мной следить. Там пули во все стороны свистали, народ бежал по Дмитровке врассыпную. А в метро я сначала покатался туда-сюда, прежде чем ехать к тебе.

Она помотала головой.

— Это бред какой-то.

— Ну-с, ладно, — сказал я бодро, натягивая трусы. — Бред, так бред. Пойду чай поставлю и приму душ. А ты пока одевайся, приводи себя в порядок, прихорашивайся... Потом я тебя провожу вниз. Я бы мог, конечно, Викуля, и до работы проводить, но повторяю: тебе безопасней не появляться со мной вместе.

Бедная Виктория некоторое время таращилась на меня исподлобья, а потом походкой лунатика подошла к платяному шкафу.

С наслаждением поплескавшись под душем, я выдавил себе из тюбика на палец червячок зубной пасты и подумал, что знаком с Викторией почти год, а вот своей зубной щётки в её квартире не имею. И она ни разу за всё это время не удосужилась купить! А вот когда она первый раз побывала у меня, я сразу выделил ей свою новую зубную щётку, сказав, что ещё не чистил ею зубы, что, вообще-то, было неправдой. Но дело не в качестве услуги, а во внимании. А она? Дикарка!

Но тут я вспомнил минувшую ночь и простил Виктории эту мелочь. Чувствовал я себя весьма бодро и уверенно, в голове и во всём теле была легкость. Это большое дело, когда удается расслабиться с женщиной полностью, до самого доньшка. В жизни я больше думаю о женщинах, нежели ими обладаю, и от этого, наверное, моя неуверенность. Но чтобы обладать ими чаще, надо быть бабьим угодником или иметь внешность кинозвезды. Замкнутый круг. Может быть, жениться на Виктории? Несвежая мысль. Я с трудом переносу её разговоры, даже если это не “Рублёвские истории”. Потом нет никаких оснований предполагать, что супружеская постельная жизнь будет такой же яркой, как вчерашняя ночь. Сейчас мы просто оба голодные до секса, причём голод этот устроили себе сами, не желая признавать зависимость друг от друга. Не очень хороший зачин для будущей семейной жизни. Эх, надо бы побриться, да бритвы здесь тоже нет. Интересно, а чем она бреет под мышками? Наверное, не “станком”, у них сейчас электробритвы специальные есть. Помнится, когда я был студентом, мне рассказывала одна девчонка из общежития, что кавказские девушки бреют ноги безопасными лезвиями. Суровость социалистического быта! Ведь волосы, как известно, от брития только в рост идут, причём становятся жёстче. Значит, бедным южанкам приходилось скоблиться минимум раз в два дня, как мужикам, при большей площади обработки! Мда.

Стоп, о чём я думаю? Я внимательно посмотрел на своё несколько припухшее лицо в зеркало. Я что, сошёл с ума? Или расслабился до размягчения мозга? Что я, к примеру, буду делать, когда выйду из её дома?

А ничего, сказал я себе с той же безмятежностью, с какой думал о женском бритье. Пойду, как и Вика, на работу. Это сейчас самое безопасное место, туда после вчерашнего сражения никто не сунется. Ну а потом? Потом как ветер подует. Куда ветер, туда и я. На кой хрен мне идти против ветра?

Надо держаться нагло и уверенно, в духе моих вчерашних SMS-сообщений. Если, не дай Бог, я попаду в лапы одной из бандитских группировок, ничего не изменится от того, буду ли я ползать перед ними на коленях или посылать на “три”, как вчерашнего “чёрного человека” (отправившегося, увы, значительно дальше). Меня станут терзать одинаково сильно в любом случае. Бандюкам нужны чемоданы, а не моё перед ними заискивание. Лебезя, умоляя, я ничего не выиграю, а нагло блефуя, — вполне могу, как это произошло, когда на вахте я проскочил мимо “чёрного”. И вот, случайно или нет, его вчера отвезли в морг и нацепили бирку на ногу, а я после этого попивал пиво, водку, коньяк, кувыркался с Викторией.

За чаем Вика, видимо, внутренне на что-то решившись, сказала мне:

— Вася, я не понимаю, что ты делаешь и, самое главное, зачем, но я не могу отказать тебе в убежище. Приходи, если некуда будет идти.

Благородно! Благородно! Эх, если бы не Викина манера самоутверждаться со мной! Женился бы, точно женился!

— Если тебе нужны деньги, — продолжала возрастать благородством Виктория, — то я с удовольствием могла бы тебе одолжить. Отдашь, когда сможешь.

Я любовался ею. Она приняла правильное решение. И наверняка не первое. Первое было — избавиться от меня как можно быстрее. И оно, как всегда, было бы самым правильным. Но это — решение земляного червя (который тоже, в принципе, живёт правильно), а не человека. К чести женщин, нужно сказать, что большинство из них поступили бы точно так же по отношению к мужчинам, которые им близки. У мужчин в подобной ситуации часто оказывается куда меньше мужества и благородства.

Я торжественно поднялся и чмокнул её в руку.

— Викуля! Сочту за честь прийти, но злоупотреблять твоим гостеприимством не буду. И денег, конечно, попрошу, если будет крайняя нужда. Но больше всего мне бы хотелось прийти не в поисках убежища, не за деньгами, а не скажу, зачем. Но ты поймёшь.

Виктория вильнула взглядом и немного покраснела. Но, в общем, было видно, что мой намёк ей летен.

— Да, — внушительно поднял я палец вверх. — Виктория! Ты не будешь в безопасности, если расскажешь кому-нибудь о моих злоключениях. Особенно своим “вип-подругам”.

— Да я и не знаю ничего толком о твоих злоключениях, — пробормотала она.

— Ну и славно.

Я проводил её до дверей подъезда. Осторожно выглянул на улицу. Подозрительных людей в поле зрения не было, дорогих машин тоже.

— Ну, до встречи. — Я поцеловал Вику в щеку. — По моим телефонам не звони. Я сам тебе, если что, позвоню.

Я вернулся в квартиру Виктории. Ради дела иногда приходится преодолевать свою нелюбовь к СМИ. Я включил Викин компьютер, вышел в интернет, нашёл отчёт о вчерашней пресс-конференции в Домжуре, на которой якобы я присутствовал, просмотрел и распечатал его. Потом поглядел, нет ли новостей об убийствах Гарькавого и Шматько и “мочиловке” в Петровском. Всё было то же самое, что и в сообщениях по телевидению, за исключением одной, но весьма важной детали. Секретариат президента Украины заявил, что убитый в Москве некто Николай Гарькавый никакого отношения к окружению президента не имеет и попал на трибуну прошлогоднего Майдана совершенно случайно, без ведома организаторов, как это, дескать, сплошь и рядом случалось в те революционные дни. Анонимный обозреватель сайта

“Полит.ру” задавал естественный вопрос: “Если это был случайный человек, то почему под снимком появилась его фамилия?”, и тут же сообщал, что, по данным “Украинской правды”, Николай Гарькавый являлся одним из лидеров организованной преступной группировки города Днепропетровска и активно сотрудничал (“по непроверенным сведениям”) с бизнес-структурами бывшего украинского премьера Павла Лазаренко. Я открыл сайт “Украинской правды” и узнал ещё одну подробность: в начале 90-х годов Гарькавый был сподвижником организаторов секты “Белое братство” Юрия Кривоногова, Марины Цвигун (она же “Мария Дэви Христос”) и Виталия Ковальчука.

Метаморфозы покойного Гарькавого и возможная связь ушедшего в подполье “Белого братства” с преступным миром Днепропетровска, коммерческими структурами Лазаренко и “оранжевой революцией” не показались мне непонятными или абсурдными. Я и раньше видел, что многие приёмы воздействия на публику, вплоть до отдельных жестов (взять хотя бы два пальца правой руки, поднятые вверх), у “Марии Дэви Христос” позаимствовала сектантка другого рода — Юлия Тихоненко. Да это и не удивительно: обе “харизматичные” дамы были одногодки, в одно время жили в Днепропетровске и обладали схожим темпераментом. Даже девичья фамилия Тихоненко, доставшаяся ей от папы Владимира Абрамовича, была в чём-то созвучна цвигунской — Герцян. Украинские газеты писали, “що мати Юлі Тихоненко — єврейка, а батько — вірмен”. Тихоненко-Герцян, торговавшая в “перестройку” пиратскими видеокассетами, с завистью, наверное, наблюдала за бурным взлётом мелкой комсомольской функционерки Цвигун. А может, и сама являлась членом “ББ”. Говорят же, что “Блок Юлии Тихоненко” больше напоминает религиозную секту, нежели политическую партию. Члены парламентской фракции “БЮТ” любят, как и “белые братья”, щеголять на публике в белых одеждах. Сектантство и политика вообще тесно связаны на Украине. Нынешняя правая рука Тихоненко, пастор в секте баптистского толка Турчанинов (у него и партийная кличка — Пастор), в своё время руководил предвыборной кампанией лазаренковской партии “Громада”. У Лазаренко начинала свою политическую карьеру и сама Тихоненко. Теперь она премьер-министр, а Лазаренко сидит в американской тюрьме. Этот сюжет тоже сближает её с Цвигун, которая, выйдя досрочно из тюрьмы, стала обладательницей солидного банковского счёта, шикарной виллы под Донецком, где живёт со своим “бойфрендом” Ковальчуком, а вот её бывший муж, основатель и гуру “Белого братства” Кривоногов отсидел полный срок и не получил ничего. Он теперь работает техником в каком-то “Зеленстрое” под Киевом.

Некий неназванный российский бизнесмен, хорошо знавший Юлию Владимировну в 90-е годы, описывал её в интернете как типичную “бизнесвумен”, лишённую всякого интереса к государственной деятельности: “Разговоры Юли отличались тогда предельным цинизмом. Она обильно использовала матерную лексику и ни о ком из своих знакомых не говорила с уважением. Все люди рассматривались с точки зрения полезности либо бесполезности. Об украинских националистах она тогда говорила с раздражением и презрением. Впрочем, тёплого отношения к Москве у неё тоже не было. В отличие от бизнеса, политика её тогда не интересовала”. По свидетельству другого очевидца, в ту пору Тихоненко тяжело общается с людьми, держится неуверенно, нервно тербит распушенные чёрные волосы и сжимает руки.

Но вскоре она начинает вести себя по-другому: точь-в-точь как сидящая тогда в тюрьме и уже забытая публикой “Мария Дэви Христос” — Марина Цвигун. Эта метаморфоза совпадает с началом политической карьеры Тихоненко (1995—1996 годы) и появлением в её окружении сектанта-баптиста Александра Турчанинова, возглавлявшего в 1987—1989 годах райком комсомола и отдел пропаганды Днепропетровского обкома комсомола, под крылом которого трудилась журналистка Марина Цвигун.

Уже в первые годы XXI века Тихоненко обвиняется в хищении и присвоении более 2 миллиардов долларов государственных денег. Сколько

Юлия Владимировна заработала на перепродаже дарового российского газа за рубеж по европейским ценам, никто не считал. В 2004 году обвинения против Тихоненко выдвинула и Главная военная прокуратура России. Она располагала доказательствами того, что “дева с косой”, бывший руководитель “Единых энергосистем Украины”, давала взятки высоким чинам из Минобороны России (впоследствии осужденным), которые участвовали в подготовке контракта о поставке Украиной материально-технических средств для нужд Минобороны РФ. Цены поставок были завышены в 1,5—2 раза, а стройматериалы для российских военных так и не были получены в полном объёме.

Вот под дамокловым мечом каких обвинений “леди Ю” вступила в 2004 году в борьбу за власть. Обратного пути для неё, в отличие от не очень “замазанного” Юрченко, не было.

Мысль о том, что Тихоненко в ходе “оранжевой революции” активно использовала “пиар-технологии” “Белого братства” и приёмы Марины Цвигун, пришла в голову не одному мне. Некто Константин Ющенко писал на украинском сайте “Фраза”: “Сходство их стиля настолько разительно, что просто не может быть случайным. Здесь явно хорошо отработанная технология. Есть подозрение, что либо у Марины Цвигун и Юлии Тихоненко были общие “учителя”, либо они учились по одним и тем же учебникам... Достаточно только прислушаться к речам ревностных сторонников Юлии Тихоненко, и у вас не останется сомнений, что это настоящее религиозное поклонение”.

Итак, в предложенном мне зашифрованном отрезке реальности имелось достаточно повторяющихся ключевых слов, чтобы с помощью моего мистико-исторического метода выявить линию судьбы. *Украина, Гарькавый, Майдан, Днепропетровск, “Мария Дэви Христос”, Лазаренко, Тихоненко, Турчанинов-Пастор, Юрченко, Газпром...* Здесь уголовщина как таковая смыкалась с уголовщиной религиозной и политической. И это тоже отличительная черта современной истории Украины. Однако каждое ключевое слово отбрасывало, как тень, слово “Россия”. И вполне возможно, что оно и являлось главным.

Но пока судить об этом было рано. Полученная информация позволяла мне сделать лишь два промежуточных вывода. Первый: антироссийская “оранжевая революция” осуществлялась методами воздействия на сознание людей, заимствованными у тоталитарных сект. Второй: она готовилась на деньги, сворованные в России. Пятидесяти миллионов долларов, выделенных американцами, для этого явно было недостаточно. Напрашивался и третий вывод: чтобы и дальше эффективно проводить антироссийскую политику, “оранжевая” власть продолжает нуждаться в российских деньгах. Это можно было сравнить с известным приёмом рэкетиоров и “кидал”: преступный авторитет даёт человеку для продажи товар, потом посылает “братков” его ограбить, ну, а затем заставляет несчастного торговца отрабатывать стоимость товара.

Но каково было содержание исчезнувших чемоданов, мой блестящий метод мне не мог подсказать. Может быть, Гарькавый, Шматько и Безносова везли сюда деньги, как некогда Тихоненко на взятки продажным российским чиновникам и генералам? Но два больших чемодана денег на взятки — это слишком много. Скорее всего, деньги курьеры повезли бы обратно, на нужды “оранжевых”, а в чемоданах был товар. Но что за товар?

Потом, неужели Гарькавый, Шматько и Безносова рисковали с этими чемоданами на таможне? Это же не 100000 долларов, с которыми Юлию Владимировну задержали в московском аэропорту Внуково, в середине 90-х годов. Их Тихоненко, допустим, могла спрятать на себе — ну, скажем, в лифчике, в трусиках или в поясе для чулок. Впрочем, она летала самолётом, а моя “троица” могла ехать поездом. А что за таможня на железной дороге? Вот возвращался я однажды из Крыма: плацкартный вагон, включая третьи багажные полки, был забит ящиками с фруктами и овощами, которые везли кавказцы-проводники. “Подмазанные” таможенники не обращали ника-

кого внимания на эти ящики (закрытые, кстати), зато приставали, по своему обыкновению, к владельцам кошек и собак.

Хорошо, но почему “крутой” Гарькавый потащился со Шматько и Безносовой в мои однокомнатные апартаменты, словно “челнок” какой-то? Что у него, надёжной “точки” в Москве не было, что ли? Надо полагать, “точки” или отели были недостаточно надёжны, — прежде всего, для хранения чемоданов. А у “чайника” Васи Кольванова будет надёжней, чем в банке.

Ну а какова роль в этой истории мелкого дельца Шматько? Допустим, он был связным. В Москве крутился часто, мир местного полукриминального (а может, и криминального) бизнеса знал неплохо. Мог найти в Москве на два дня неприметную “хазу” с нелюбопытным хозяином. Да и вообще, этот тип человека — скорее, левантийский, нежели украинский, — популярен у “оранжевых”. Взять так называемых “бютовцев”, которых показывают по телевидению: жуликоватые такие весельчаки, повадками весьма смахивающие на Шматько.

А Юлия Безносова? её роль? Покрутить, где надо, попкой, лечь под “нужного” человека? Ну, это как водится у “деловых людей”, необязательно даже бандитов. Сексуальная женщина — хорошая приправа всякой серьёзной сделки. Её присутствие волнует, обостряет запах денег. Потом, женщина может то, что с трудом даётся мужчине: например, скрыть неприязнь к партнёру. А может, всё проще, и нужна была такая Безносова лишь для отвода глаз.

Смущало меня также, что у “троицы”, ворочавшей такие серьёзные дела, не было серьёзного прикрытия — какого-нибудь мордоворота с “пушкой”. Хотя его отсутствие можно было объяснить теми же соображениями секретности, нежеланием привлекать к себе лишнее внимание. Не очень я понимал и то, как Гарькавый, не знавший меня, в отличие от Шматько, да и вообще не производивший впечатления доверчивого человека, решился оставить у меня на полдня без присмотра два чемодана, за которые их вскоре убили и ещё восемь человек тоже. Косвенным образом это моё сомнение подтверждалось тем, что именно Гарькавый, а не Шматько, пришёл за чемоданами.

При желании, конечно, и этому факту можно было найти объяснение, но они ни на шаг не приближали меня к ответу на вопрос: что же являлось предметом сделки? Из-за чего сыр-бор?

Другой вопрос: кому предназначался товар? Кто эти вооружённые до зубов мужчины, готовые убивать друг друга только за одну информацию о чемоданах? Одна группировка, несомненно, состояла из кавказцев или, как сейчас говорят, “лиц кавказской национальности”, а другая — вроде бы из славян. Но что это были за кавказцы? И что это были за славяне?

Я набрал в “поисковике”: “Организованные преступные группировки Москвы”. На экране возникла карта столицы, густо испещрённая чёрными кружками. На территории Москвы действовало около ста мелких и крупных организованных преступных группировок (ОПГ) и легально проживало более семидесяти воров в законе и криминальных авторитетов. Из двадцати крупных ОПГ семь было кавказских: азербайджанская, армянская, айсорская, грузинская, дагестанская, ингушская и чеченская, но они превосходили все другие количеством участников: на 10 славянских криминальных авторитетов приходилось 50 “этнических” преступных лидеров. Вот и верь после этого, что “преступность не имеет национальности”!

Из кавказских ОПГ, судя по масштабу преступных интересов, для охоты за загадочными чемоданами подходили азербайджанская, армянская, грузинская, дагестанская и чеченская группировки. Но я неплохо знал азербайджанцев, дагестанцев и чеченцев — в Петровском переулке полегли явно не они. У моего “чёрного человека” акцент был мягче, чем у северокавказцев. Но не такой приторный, как у азербайджанцев. Так говорят по-русски армяне и грузины.

Украинская ОПГ в Москве и Московской области была известна лишь одна — под названием “Донецкий локс”, но возглавляли её сухумский грузин Гиви Немсадзе и уроженец Донецка Геронтий Лепсай, скорее всего, молдаванин. В период своего расцвета в начале 90-х годов группировка насчи-

тывала более полусотни боевиков. Специализировались они в основном на заказных убийствах и вымогательстве.

Не исключено, что противостоял кавказцам именно “Донецкий люке”, но с такой же уверенностью я мог бы утверждать, что это были балашихинские, долгопрудненские, измайловские, казанские, ленинские, люберецкие, мазуткинские, ореховские, пушкинско-ивантеевские, подольские, сокольнические, солнцевские, таганские “братки”...

Я почесал “репу”, выключил компьютер и поехал на работу.

Поначалу, когда я шёл к метро, у меня была мысль: оглянуться посмотреть, нет ли слежки. Но я тут же выругал себя и сказал: “Слежки нет! А если и есть — плевать!”. И тогда утренняя беззаботность вернулась ко мне. Я ехал в метро, смотрел на девушек, думал о всякой всячине, не имеющей никакого отношения к битве за металл.

Но уже на “Пушкинской” я ощутил вчерашний мандраж. В вестибюле метро, у выхода было полно милиции и солдат внутренних войск. У парадного входа Совета Федерации стояли два БТРа и ещё два — во дворе. Левая сторона Петровского переулка, вплоть до бывшего театра Корша, была отгорожена, точно как в американских боевиках, красно-белыми клейкими лентами, а для автотранспорта СФ оставался лишь узкий проезд справа. Внутри ограждения ползали менты, собирали стреляные гильзы, пули и ещё Бог весть что. Может быть, окурки. Превращённые в дуршлаг иномарки эвакуировали, но пятна крови и автомобильного масла с асфальта ещё не смыли. От трупов остались только нехудожественно выполненные меловые контуры. Примерно так же, плоско и карикатурно, выглядели, наверное, на том свете души незадачливых “братков”.

Вахтёр пристально поглядел на меня, когда я с ним поздоровался.

— А вы знаете, что здесь вчера было, когда вы ушли? — спросил он.

Господи, я же совершенно забыл про него! Да не узнал ли он в одном из трупов, которые показывали в новостях, вчерашнего “чёрного человека”, который два раза приходил по мою душу?

— Ещё бы! — как можно небрежней сказал я. — Они же меня вчера чуть не пристрелили, когда я шёл на пресс-конференцию. Еле прошмыгнул.

— А тот человек, которого вы... послали?.. Он же за вами вышел?

— Ну, про этого я не знаю. Я для того его и послал, чтобы отвязаться от него. Кляузник и графоман! Другого языка не понимает.

— А я-то думал: с чего вы это его так?

“Нет, не узнал! — наблюдая за ним, решил я. — Да и не показывали тот труп. Если бы он узнал, то разговор по-другому бы начал, к примеру, так: “Вы были уже в милиции? Я им вчера рассказал о вашем посетителе, которого убили”. Да и как бы он мог видеть и узнать? Под пули он, естественно, не высовывался, а потом к месту перестрелки его бы никто не подпустил”.

— Александр Николаевич, когда ему сказали, что вы ушли перед тем, как стрельба началась, велел звонить вам на мобильный и домой. Звонила секретарь, потом я, но не дозвонились.

— Да, я выключил мобильник на пресс-конференции, а потом позабыл включить. Дома же вчера я не ночевал, был в гостях. Там и узнал по телевизору, чем всё кончилось. Про пулю в чашке чаю тоже знаю.

Я зашёл к Мишарину, широко улыбувшись исподлбья глянувшей на меня Верочке. Он отложил четки и сразу напустился на меня:

— Ты почему не позвонил вчера, не сообщил, что с тобой?

— Прошу прощения. Я был пьяный.

— Это меняет дело, — подумав, кивнул он. — Но вот один мой приятель — большой человек, между прочим, какой бы ни был пьяный, каждый час звонил домой.

— Но у меня дома нет даже кошки, а если я, податый, буду названивать вам каждый час, вы взвоете.

Мишарин промычал что-то, означающее, очевидно, согласие.

— Вот она, смерть моя, где была, — он взял со стола и театральным жестом показал мне вчерашнюю пулю. — Два раза дзынькнуло — сначала

стекло, потом чашка. Чашка целёхонька, а стекло — вон, смотри — всё пошло трещинами. Пришёл “муровец”, хотел забрать пулю, но я не отдал. Это же судьба! Жизнь на волоске висела.

— Да-а.

— Ты почему небритый?

— Я ночевал у любовницы.

— Это меняет дело. В следующую среду редколлегия. Ты готов?

— Готов.

— Будешь пить в рабочее время — уволю. Хватит с меня Кучаева и Логина.

— Это они пили в рабочее время. А я — после шести.

— А почему ты авторов на х... посылаешь?

— Доложили?

— А как же!

— Это был не автор, а так, чмо одно.

— Это другое дело. Но писателей не посылай. Среди них встречаются хорошие люди.

— Но ведь очень редко, — поддразнил его я.

— Всё равно. В молодости меня принял сам Охлопков. Это был единственный раз, когда я воспользовался протекцией отца, секретаря обкома. Я был актёром, и мы с Андреем Вейцлером написали пьесу. Комедию. Её передали Николаю Павловичу Охлопкову. Он прочитал, пригласил нас к себе в Театр Маяковского, вызвал завлита, режиссёра и радостно так говорит: “Мо-ло-ды-е лю-у-ди написа-али пье-эсу. — Мишарин похоже передавал чуть пьяноватую манеру речи Охлопкова. — Это о-очень хорошо!”. Как будто мы были первыми молодыми людьми в истории драматургии, написавшими пьесу. Потом Николай Палыч говорит: “Пишите заявку, и можете получить в кассе аванс”. Тут я растерялся и спрашиваю: “А что писать в заявке?”. — “Как — что писать? Эх, молодо-зелено! Пишите: “Пьеса о советских лю-удях!””.

Мы посмеялись. Мишарин отхлебнул чаю из чашки, покосился на залепленное скотчем окно.

— Следующая не оттуда залетит, — предположил я.

Он усмехнулся своей улыбкой сатира.

— Ладно, иди, работай.

Я пошёл, а он снова взялся за чётки.

Поднявшись к себе, я занялся делами по очередному номеру. Когда у меня в жизни наступает чёрная полоса, я люблю работать. Я внушаю себе таким образом, что есть вещи более важные, чем личные неприятности.

Однако, когда через полчаса в дверь постучали, у меня снова заныло в животе. “Ну, вот и всё. Это последняя в твоей жизни редактора”, — сказала трусливое существо, живущее во мне. Но отозвался я бодро:

— Войдите!

Вошел хорошо одетый человек средних лет, с очень длинной верхней губой, закрывающей нижнюю на манер скандинавской кровли.

— Аркадий Борисович Караблут, адвокат, — представился он, с некоторым недоумением озираясь в моих подпорченных пожарными апартаментах. — Позвольте присесть?

— Сделайте одолжение, — в тон ему ответил я, а сам спрятал руки под стол, чтобы скрыть их противную дрожь.

— Вы — Кольванов Василий Петрович, — сказал не с вопросительной, а, скорее, с утвердительной интонацией Караблут.

— Совершенно верно. Чем обязан?

Адвокат исподлобья глянул на меня маленькими красноватыми глазками, потом отвел их и постучал пальцами по столу.

— Клиент, интересы которого я представляю, заинтересован установить контакт с вами. Он, по его словам, пришёл к выводу, что вчерашние события были ошибкой. При этом я особо хочу оговорить, что лично я не знаю, о каких событиях идёт речь.

— Вот как? Я тоже, представьте, не знаю.

— Мне почему-то думается, что они связаны с вчерашним происшествием на этой улице.

— Вы в этом уверены?

— Я выполняю юридические и посреднические услуги для своих клиентов. Уверенность в чём-либо другом не входит в круг моих обязанностей. Есть много вещей на свете, о которых не говорят прямо, но при этом подразумевается, что стороны понимают, о чём идёт речь. — Он выразительно поглядел на меня своими крысиными глазками.

— Так-так.

Я лихорадочно соображал. “Кто он — из милиции или от бандитов? Надо как-то проверить”. Я резко выдвинул ящик стола и громыхнул в нём тяжёлым дыроколом. Караблут побледнел, резко выставил вперёд обе ладони.

— Не надо! Уверяю вас, я совершенно безоружен! — воскликнул он.

“Нет, не мент! Мент бы обязательно выхватил “пушку”, рисковать жизнью ему ни к чему. А этот, продажная шкура, работает за большие деньги. Блефовать, блефовать дальше! — твердил себе я. — Он скользкий, как червяк, и хитрый. Если я буду играть в его игру, он быстро поймёт, что я в этом деле — случайный “лох”, и тогда мне конец”.

Я задвинул ящик.

— Господин Караблут! А вполне ли вы отдаёте себе отчёт, к кому пришли?

Он осторожно пошевелился.

— Честно говоря, не совсем. И мой клиент — тоже.

— Но кто такой ваш клиент, вы, конечно, знаете. И знаете, почему сегодня он послал вас, а не тех, кто приходил вчера. Но известно ли вам, что есть услуги, за которые можно получить не деньги, а изысканный лакированный ящик с открывающейся, по последней моде, дверцей?

— Вы меня не поняли. Я действительно адвокат. Хотите, покажу удостоверение?

— Я вас отлично понял. Вы адвокат, и поэтому не побоялись прийти в здание, буквально окружённое милицией. Если бы я, к примеру, захотел вас сдать ментам, вы бы совершенно невинно спросили: “За что?”. И, действительно: за что? Вы ничего такого, в сущности, не сказали, а со мной пришли поговорить, как выяснится, о литературе. Но ты даже не представляешь, во что ты влип. В этом деле цена человеческой жизни — копейка. Уже есть десять трупов, а ты будешь одиннадцатым.

На лбу и на длинной губе Караблута выступили крупные капли пота. Он покосился на меня, сказал: “Позвольте”, достал из нагрудного кармашка дорожного пиджака белоснежный платок и промокнул лицо.

— Но кто-то же должен договариваться о контактах? — почти умоляюще воззвал ко мне он. — Какая польза в том, чтобы убивать переговорщиков?

— А откуда я знаю, что ты переговорщик, а не засланный казачок? Что ты за байду здесь несёшь: “не знаю, о каких событиях идёт речь”, “мне кажется, но я не уверен”? Если ты переговорщик, какие у тебя полномочия?

— Постараться вывести вас на контакт с моим клиентом.

— И при этом ты не называешь мне своего клиента?

— Я... не могу.

— В общем, ты свободен. Иди отсюда. Здесь тебя никто не тронет, но домой ты вряд ли вернёшься в вертикальном положении и с температурой тела тридцать шесть и шесть.

Караблут не двигался, глядя на меня умоляющими глазами.

— Пошёл вон, сука! — заревел я.

Дверь кабинета открылась, и в неё заглянул художник Толя Семёнов, привлечённый, видимо, необычным ором.

— Нет-нет, — сказал я, пристально глядя Толе в глаза. — Здесь мочить не будем. Ментов много, бережёного Бог бережёт. Позже. Так что пока ты свободен.

Семёнов открыл рот, закрыл, поморгал, понял что-то и исчез. Адвокат сидел ни жив ни мёртв.

— Разрешите сделать звонок? — прохрипел он.



— Сделай, — великодушно кивнул я. — Только номер покажешь мне.

Караблут дрожащими руками (мои, кстати, уже не дрожали) вытащил шикарный суперплоский мобильник, нажал кнопку и показал мне высветившийся номер. Я взял ручку и записал его. Это не был телефон покойного Шматько. Над номером стояло имя хозяина: “Шпигун”. Так... Похоже, я буду иметь дело не с кавказцами и не с “Донецким люксом”.

— Звони! — разрешил я.

— Виталий Адамович! — плачущим голосом закричал в трубку адвокат. — Так мы не договаривались! Я не обязан рисковать жизнью! Мне здесь угрожают! Я не знаю, почему! Господин Кольванов требует сообщить полномочия, назвать ваше имя. Нет, я не назвал, как вы и распорядились, но он видел его на экране телефона.

Я услышал мат караблутовского абонента. Потом адвокат протянул трубку мне.

— Виталий Адамович хочет говорить с вами.

— Слушай меня внимательно, Шпигун, — внушительно сказал я, взяв телефон. — Одно твоего желания говорить со мной мало. Я лично с тобой по сотовому говорить не желаю.

— Да кто ты такой? — завопил фальцетом неведомый мне Виталий Адамович. — Кого ты представляешь? Каким боком ты связан с этим делом? — Он задышался.

— Я же сказал: о делах с тобой по сотовому говорить не буду. Это ты мне посылал “эсэмэски”?

— Какие “эсэмэски”?! Ничего я не посылал!

Судя по интонации голоса взбешённого Шпигуна, говорил он правду. Значит, SMS-сообщения мне посылал другой “пахан”, представитель конкурирующей “фирмы”. Что ж, это важная информация.

— Насколько твой долбаный Караблут в курсе дела? — спросил я.

— Всё, что надо, он знает!

— Тогда дай ему указания не изображать из себя целку и говорить прямо. Адвокат, мать его!..

— Хорошо, пусть он возьмет трубку, — после некоторой паузы сказал Шпигун.

— Держи, — вернул я мобильник Караблуту.

Тот выслушал распоряжения Шпигуна, закивал.

— Ну, говори, продажная тварь! — прикрикнул на него я.

— Я попросил бы вас...

— Просить будешь у жены, когда она тебе скажет: “Отстань, импотент”! А здесь у тебя задача выжить!

— Господин Шпигун предлагает вам пятнадцать процентов, — выпалил разом продажный юрист. — Это очень хорошая доля.

Не исключено, что это было правдой, но я в этом мало разбирался. Я знал только, что в фильмах про крутых бизнесменов никто с первого раза не соглашался. Здесь мои принципы и принципы телевизионных преступников совпадали.

— А если бы убили не четверых ваших, а больше, то какая была бы моя доля?

— Господин Кольванов, помилуйте, не я определяю доли! Но если она вас не устраивает, я передам господину Шпигуну, сколько вы хотите.

Тут я решил ещё раз закинуть удочку, как в случае с “эсэмэсками”.

— Вчера, кроме ваших четверых, было убито ещё четыре человека. Ты хоть знаешь, кто это такие?

— Ну... очевидно, ваши люди.

Ага! Если “мои”, то они не знают, кто на них “наехал”. Это тоже важная информация.

— Как ты думаешь, кто-то должен платить за их гибель?

— А кто заплатит за смерть четырёх людей господина Шпигуна? — осмелел Караблут. — При этом, позвольте вам заметить, они приехали не за чем-то чужим, а за тем, что по праву должно принадлежать господину Шпигуну.

— О каком праве говорит твой господин Шпигун? Может быть, о пра-

ве сильного? Но он не сильнее меня, как показал вчерашний день. Или он считает, что прав “по понятиям”? Я в этом тоже очень сильно сомневаюсь. Он хочет, чтобы ему упало в руки всё готовенькое, — закинул я ещё одну удочку. — Дескать, я плачу деньги, я и заказываю музыку. Так?

— Мне трудно говорить о деньгах, которые принадлежат не мне. Не знаю также насчёт музыки, но деньги — душа и цель всякой сделки, — абстрактно и грамотно ответил приходящий в себя адвокат. Сейчас он был в своей стихии.

— Помимо денег, есть ещё обязательства! — столь же абстрактно воскликнул я. — Обязательства перед теми, кто гнул спину и рисковал жизнью. Без этого деньги — мусор.

— Сколько же вы хотите?

— Шпигун ведь сказал тебе, до какого предела ты можешь уступить? Ну, не ломайся!

Караблут потушил глаза и пробормотал:

— Восемнадцать.

— Едва ли это его предел! Как всякая мелкая сволочь, возмнившая себя крупной, он наверняка распорядился уступать поэтапно. Какая последняя цифра? Говори!

— Двадцать, — раскололся адвокат. Было видно, что ему полегчало.

— Ну, двадцать — это уже кое-что. Передашь Шпигуну, что я подумаю. Только это всё пустое. Сделка не состоится.

— Что значит — пустое? — оторопел Аркадий Борисович. — Как — не состоится?

— А так. Я вижу, не только ты не понял, во что вляпался, но и твой красавец Шпигун. Вокруг этого дела слишком много заинтересованных лиц.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду более крупных зверей, чем твой Шпигун, которые хотят того же самого, что и он. И тоже говорят, что хотят по праву. И по понятиям.

— Кто же это?

— Ну, если это вам интересно, могу познакомить. Не скрою, Шпигун выдвинул более выгодное предложение, чем другая сторона. Но Шпигуна я не боюсь, а тех, других, побаиваюсь. Впрочем, окончательного ответа я им тоже не давал. У Шпигуна есть отличная возможность доказать, что он крутой и что участвует в деле не только своими вонючими деньгами.

— Каким же образом?

— Это не моё дело! — гаркнул я. — Когда приходили ко мне, знали, каким! Достань-ка ручку и запиши номерок.

Караблут с готовностью вынул “паркер” и блокнотик. Я продиктовал ему номер мобильного Шматько. Убийцы Олега этого вполне заслуживали.

— Вот с обладателем этого телефона вы и выясните хорошенько насчёт прав и понятий в этом деле. А я не могу договариваться сразу с двумя претендентами. Вот когда я буду знать, у кого из вас больше прав и понятий, тогда и буду говорить о сделке. Если повезёт вам, то оговоренные сейчас мои двадцать процентов в сторону уменьшения изменяться не могут. Ясно?

— Ясно, — пролепетал Аркадий Борисович.

— Если ясно, то иди. Стой! — спохватился я, глядя, как он поспешно прячет “паркер” и блокнот. В криминальных сериалах люди типа Караблута носят в карманах ещё кое-что. — Ну-ка, дай мне сюда свой диктофон!

Адвокат побледнел.

— Диктофон, вы говорите?.. Да я, собственно...

— Ну же!

Караблут, дергая верхней губой, как крыса, вытянул из бокового кармана дорогого пиджака маленький цифровой диктофон.

— Вот, пожалуйста... Но это — моя личная вещь...

— Да на хрена мне нужна твоя вещь! А вот тебя самого следовало бы всё-таки убить. Точно, включен! Ну и сука же ты!

Я вытащил из диктофона “флэшку” и с ожесточением изломал её на мелкие кусочки. Аппарат я бросил назад хозяину. Мне показалось, что он не очень огорчился, что так вышло: и “вещь” получил обратно, и Шпигуну те-

перь не может дать прослушать свидетельство своего позора. Он, может быть, и сам бы стёр эту запись.

Караблут, вжав голову в плечи, шмыгнул за дверь. Я с улыбкой представил, как он “со знанием дела” будет говорить в какой-нибудь компании, где зайдёт речь о литературе: “Журналы? Все они “крышуются” бандитами, уж поверьте мне”.

Мой блеф приобретал уже некие драматургические черты. “Пьеса о советских людях!”. И автор этой пьесы — я. Причём мне неизвестно, вокруг чего закручивается главная интрига и каков финал, — они обретаются по ходу действия. Мои актёры даже не знают, что участвуют в спектакле. Более того, с большинством из них я не знаком и знакомиться не желаю. Цель затеянного мной “вслепую” представления — выжить. Пока мне это удаётся. Но что же будет дальше?

Я встал и пошёл к Толе Семенову. Он работал на втором этаже, в комнате, не поврежденной пожаром и его беспощадным тушением. Она имела форму буквы “Г”, длинную сторону которой занимал поставленный торцом к окну старинный стол. И стол, и полки вдоль стен, уходящие под высоченный потолок с великолепными дубовыми балками (очевидно, здесь прежде была столовая), были беспорядочно завалены фотографиями, альбомами, макетными эскизами и гранками. Найти в этом хаосе что-либо мог только сам Семенов, причём делал это не глядя, протянув руку. Толе было около шестидесяти лет, но он, худой, стройный, по-юношески подвижный, с тонким иконописным бородатым ликом, выглядел моложе лет на пятнадцать.

Толя был большим оригиналом. Обнаружив, что его кухонный телефон с автоответчиком стал отелем для тараканов, он решил уничтожить насекомых древним русским способом и сунул аппарат в морозильник. Однако не выдержали не только тараканы, но и малайзийская электроника. Оттаяв, телефон стал жалобно пищать, а вот по прямому назначению уже не работал. В пьяном виде Семенов тоже отличался сообразительностью. Однажды, основательно заложив за воротник, он шёл домой после закрытия метро, заблудился, замёрз. Что было дальше, наутро он не вспомнил, но проснулся на крыше экскаватора, стоявшего посреди распаханного под стройплощадку пустыря.

Семенов пил чай. Увидев меня, он чуть не поперхнулся.

— Слушай, я не понял: кого это мы “не будем мочить”? — поинтересовался он. — Мы разве кого-то собирались?

— Конечно! Ты что, не помнишь?

— Нет. А кого?

— Третьего дня у Карины мы решили замочить Мишарина. Чтобы не слишком выёживался.

Толя залился смехом. Мишарина он недолюбливал, как, впрочем, и тот его.

— Ну, а если серьёзно, достал меня тот сумасшедший графоман, которого ты видел. Ну, я его и пугнул с твоей помощью.

— Да? А вроде бы одет прилично... И что же он — поверил?

— Во всяком случае, ушёл.

— Уйдёшь, если жить хочется! Он же знает, что здесь вчера творилось! Такая стрельба! Восемь трупов! Мишарину пуля в чай залетела. А ты где был? Кто-то сказал, что ты вышел на улицу перед самой перестрелкой.

— На улице и был. Лежал на асфальте. Потом чудом проскочил на Большую Дмитровку.

— Да? За это надо выпить! Пойдём после работы к Кариночке?

“Кариночка” — это была та самая любительница караоке, барменша-наркоманка из армянского кабачка, где мы сживали с Семеновым и Поповым.

Я вздохнул.

— К сожалению, сегодня не могу.

Мне бы хотелось пойти, но я вряд ли смогу расслабиться там, думая, где бы мне сегодня переночевать. Попроситься к Семенову? Но он живёт в двухкомнатной квартире с древней старухой матерью, молодой женой и двумя детьми. Причём с матерью у него отношения довольно напряжённые. А мо-

жет, остаться здесь? Сам Семенов, подвыпив, не раз ночевал на этом длинном удобном столе. Но завтра вахтёр обязательно доложит Мишарину, и тот снова будет выпытывать, что и как. Шуточками уже не отделаешься. Да и не могу же я всё время ходить небритый и в мятой одежде. И деньги скоро кончатся. Нет, надо ехать домой, хотя предчувствие говорило мне, что там не всё в порядке.

Толя угостил меня чаем и бутербродом с сыром. Это было кстати, потому что я толком не позавтракал, а выходить в город обедать мне не хотелось.

Потом я без особой охоты посмотрел оформление к материалам моего отдела и пошёл к себе. Сев за стол, я уставился на телефон. Как ни странно, сегодня он молчал. Я включил мобильник, проглядел сообщения — новых не было. В чём-то моя тактика приносила успех, бандюки хотя бы не дёргали меня постоянными звонками. Я удалил все входящие и исходящие “эсэмэски”.

Можно было пойти ночевать на вокзал, купить одноразовую бритву, привести хотя бы физиономию в порядок, но... Сколько это может продолжаться? Если я выбрал роль “крутого”, то смертельно опасно от неё отклоняться. “Крутые” не ходят ночевать на вокзал, они спокойно идут домой, “защитные осознанием силы”. Тьфу! Как я завидовал Семенову, который свободно мог пойти куда угодно, хоть домой, хоть к Карине, не думая о том, что его подстерегает за каждым углом... Совсем недавно я сам жил такой жизнью и не ценил её, даже тяготился ею, считая тусклой и бессмысленной.

На меня навалилась усталость. Вчерашний сумасшедший день не прошёл даром. Глаза слипались. Немцы давно пришли к выводу, что клерки должны хоть полчаса спать после обеда. Умная нация! А “пивные деньги”, которые они выдают алкоголикам? Почему мы, пьющий народ, не придумали что-то в этом роде? Мы не любим друг друга, вот что. И в моей жизни не хватает любви. С этой мыслью я задремал и с этой же мыслью очнулся. Склоненная набок шея болела. Из рта тянулась струйка слюны.

Мне стало жалко себя. Кто я? С какой целью я сижу здесь, в этом сыром кабинете? Почему мне так важна моя жизнь, если я не знаю, что с ней делать? Я Кольванов, колыхаемый всеми ветрами. Куда ветер, туда и я. Мыслящий тростник. А если не будет ветра?

Я закурил и вышел из редакции. Менты всё ещё копошились в своём загоне. Мне не хотелось снова идти мимо этого места, и я повернул к Петровке, к монастырской колокольне.

От моей утренней приподнятости не осталось и следа. Я шёл по Москве, как по чужому городу. Да он и был для меня чужим. Я родился здесь, но почти всё детство жил с родителями, геологами, в других городах, наполовину деревянных, с резными воротами, собаками на цепи, палисадниками и сиренью. Вернувшись в Москву, я так до конца и не привык к ней. Но дело было не только в привычке.

Москва, в сущности, это русское Чикаго, город сомнительного будущего, с изломанным прошлым и неопределённым настоящим. И в прежние-то времена собственная жиденькая кровь вяло текла по жилам города (уже в пушкинской Москве людей рождалось меньше, чем умирало, население прирастало, как и сейчас, за счёт приезжих), а теперь столица и вовсе словно подключена к аппарату искусственного кровообращения. Ещё с детства она была для меня продолжением её вокзалов. Везде те же высокие гульки своды, грязь, неуют, суета, вечно спешащие люди и непреступная милиция. Негде поесть, некуда сходить по нужде. Хищные таксисты. Ленин в Мавзолее. Великолепный Кремль, внутри которого почему-то тяжело и скучно, — наверное, благородный облик древних соборов придавливал масонский классицизм. Не город, а какой-то сплошной перрон. Подходят поезда, открываются двери, толпы входят и выходят. Здесь цель ничто, а движение всё.

Здесь большинство людей за тридцать больны, задавлены жизнью города больших вокзалов, не верят ни в кого и ни во что. Краткий период счастья, когда человек получает или покупает в Москве квартиру, обустраивается, быстро сменяется прежней свистопляской и беготнёй по Бульварному, Садовому и подземным кольцам. Туда-сюда. По часовой стрелке и обратно.

Годы, как чёрные дыры тоннелей метро... По ним несутся сквозняки, выдувают жизнь из утлого тела, лишают её смысла.

Здесь жизнерадостны и пассионарны только бандиты и кавказцы. Они приехали завоевывать этот город. Но им не завоевать его никогда, потому что в их детях будет течь та же рыба московская кровь.

Я дошёл Петровкой до развилки Страстного и Петровского бульваров. Вот она, старая Москва! Недавно, прошлой зимой, мне посчастливилось ощутить её дух. В сумерках шёл я по Петровскому бульвару, был лёгкий морозец, падал снежок. Когда-то донельзя запущенные, уютные особняки вдоль бульвара были восстановлены или активно восстанавливались, ослепительно белели “евроремонтом” сквозь чистенькие новые окна. В Высокопетровском монастыре зазвонили к вечерне колокола, — им откликнулись колокола Рождественской церкви и Сретенского монастыря. Дон-тир-лир-ли, дон-тир-лир-ли! Вот она — Москва-матушка! Сумерки, фонари, снежок, колокола... “Конфетки-бараночки, словно лебеди, саночки!..” Ожившая картинка из Ивана Шмелёва.

Но тут некий ехидный человек во мне спросил вкрадчиво: “А скажи-ка, Василий Петрович, где старики, которые жили раньше в этих домиках? Пошли, скрипя снежком, на службу?”. Если и пошли, то не в эти церкви. Иные из них и вовсе никуда не могут пойти, потому что уже отдали Богу душу, предварительно завещав квартиры невесть откуда появившимся благодетелям с коробками гуманитарной помощи. И надо же случиться такому совпадению: умерли они аккурат перед началом “евроремонта”!

А те, кому повезло больше, поехали жить в “высотки” на окраины, навывлет продуваемые северо-восточным полярным ветром, откуда им в центр, на Петровский бульвар, никогда уже не выбраться послушать звон колоколов. Никогда им уже не помыться в отреставрированных наконец-то Сандуновских банях, ибо билет туда стоит четвертую часть их пенсии, тогда как прежде стоил сотую... “Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка!” Гимназистки — не гимназистки (на каблучках им ходить было не положено, вероятно, автор песни перепутал гимназисток с кокотками), а стоят под стеклянными козырьками офисов блядчонки с голыми пупками и в укороченных до причинного места юбках, курят взасос длинные чёрные сигареты... Рядом их хозяйва: внушительных габаритов лысеющие парни в одинаковых полосатых костюмах, розовые, как поросята. “Средний класс”, главная опора московских властей...

Эти-то уж никогда не пойдут в отреставрированные храмы... А вот их хозяйва пойдут — в дни великих праздников. Подъезды к церквям тогда забиты их дорогими иномарками, из которых, мелькая коленями величиной с блюдца, тяжело выпархивают холёные бабы в искристых меховых шубах, а за ними следуют, сверкая штиблетами по пять тысяч баксов за пару, их мужики, решительно, словно это пистолеты, сжимающие в руках мобильные телефоны. Потом они мелодично перекликаются звонками по всему храму, а мужики, не отходя далеко, но почему-то отворачиваясь от алтаря, с важно насупленными лицами сообщают абонентам: “Я сейчас в храме”. Это звучит, как “У меня совещание”. Совещание деловых людей с Богом. Серые людешки, постоянные прихожане, жмутся по стенам, густое амбре от парижской парфюмерии, смешанное с запахом пота, перебивает запах воска и ладана, распаренные меховые бабы со зверскими гримасами подавливают зевки да поглядывают по сторонам: куда бы присесть?

Москва, засиявшая снова золотом куполов, ни прежней Москвой, ни просто русским городом не стала. Напротив, образ жизни Москвы вступил в ещё более кричащее, болезненное противоречие с жизнью других городов. Она играет сегодня точно такую же роль в жизни России, какую играли в жизни своих стран Сайгон и Пномпень, когда там хозяйничали американцы.

Однажды я зашёл в гнусную обираловку под названием “Русское бистро” (масло масленое, так как “бистро” — от русского “быстро”) на территории торгового комплекса на Манежной площади. Съев маленький невкусный пирожок и запив его чаем из пакетика, я решил пройти к метро магазином. Было что-то около девяти вечера. Гигантский универмаг пустовал. Мрамор,

фонтаны, зеркала, эскалаторы, какие-то то ли пальмы, то ли сикоморы в кадках, застекленные секции-бутики с горами товара — и ни души! Одни охранники, здоровенные парни, которым бы работать на военных заводах. Надо мной просматривалась ещё одна галерея, подо мной — другая, а сколько всего их было — Бог весть. Я поднялся выше: может, там есть люди? Нет, в зеркалах отражалась лишь моя затрапезная личность. Я глядел по сторонам и недоумевал: зачем *это* построили? Огромные универсальные магазины советского и досоветского времён сдавали свои пустующие площади под автомобильные салоны, а тут отгрохали под стенами Кремля новый комплекс, затмивший все остальные! На кой хрен, спрашивается? Неужели кто-то способен платить здесь арендную плату? А если способен, то каким образом она окупается? Возможно ли в обозримом будущем окупить затраты на строительство этого магазина-монстра, совершенно пустого в вечернее, самое горячее для буржуйской торговли время?

И тогда я понял, что золото новых куполов ничего пока что не изменило в жизни Москвы. Идея нового Вавилона, на голой теории воздвигнутого, сменилась идеей Вавилона экономического, не имеющей, впрочем, как и теория немецкого еврея, под собой серьёзных оснований, ибо вся остальная страна безнадежно барахтается в болоте бедности.

Нынешняя Москва давно уже переплонула Петербург Достоевского. Бежал я как-то раз галсами, как борзая, борясь с вольно свистящим ветром, по центральной аллее ВДНХ. Или ВВЦ, по-нынешнему. Вокруг меня, в радиусе метров эдак с пятьсот, не было ни души. Я напоминал себе героя немецкого экспрессионистского фильма 20-х годов прошлого века. Маленький человечек, бегущий куда-то по необозримым пространствам. Куда ты, дурашка? Я вдруг остановился, точно меня кто-то стукнул по лбу. “Господи, что это? — подумал я. — Где я нахожусь? Кто придумал эту бредовую “выставку” величиной с добрый город, где от павильона до павильона — километр?”

В питерской гигантомании была всё же соразмерность, городские пространства не пустовали, а были организованы имперской архитектурой, воплощение не убегаало неведомо куда от идеи, а здесь? Даже “чешки”, тянувшиеся вдоль аллей длинными рядами, съедались этим пространством, были совершенно незаметны. Капитализм был точно так же не властен над ВДНХ, как и над космическим пространством.

“Что же это была за идея?” — спросил себя я, глядя слезящимися от ветра глазами на раззолоченных национальных идолов фонтана Дружбы Народов, который, наверное, лучше теперь назвать фонтаном Раздора. Вот идея Петербурга — ясна предельно. Не Город Солнца строил Петр, а новый геополитический центр. Менялась политика, менялась столица. Рубили лес — летели щепки. Загубленного бора было жаль, но было, по крайней мере, понятно, зачем его свели.

Но здесь, у фонтана разрушенной Дружбы, ничего не понимал я. Как ни относиться к Петербургу, он был пространством *реальным*. А это что? Анти-пространство? “Чёрная дыра”? Бывало, сравнивал я Сталина с Петром, и казалось — они похожи... И тот, и другой — *строители чудотворные*, ставившие интересы государства превыше всего. Но — не было в сталинской Вселенной Бога. “Открылась бездна, звезд полна! Звёздам числа нет, бездне дна...”

Если знать, что бездна эта создана промыслом Божиим, бесконечность её не кажется сводящей с ума: она такое же творенье, как и любое другое, только побольше. Когда человек признаёт существование Бога, всякий его замысел органичен (и одновременно ограничен), и ничто из созданного его руками не стоит в *пустом* пространстве.

Уникальность пространства ВДНХ (а равно и пространства Речного вокзала) заключалась в том, что оно выходило прямо в *открытый космос*, во Вселенную без Бога.

Вот почему посткоммунистическая Москва страшнее Петрова града. Не однотичность её многоэтажек тяготит, а то, что находятся они словно под озоновой дырой. Обитатели холодного Петербурга верили, что над городом простер свой спасительный покров апостол Пётр. Москвичей от метафизиче-

ского холода Вселенной отделяют лишь тонкие типовые панели. И не Кремль теперь является символом Москвы, а монумент Героям космоса, сооружённый возле пространственной ловушки ВДНХ. Необъятный город, улетающий по широкой эллипсоиде неведомо куда... К едрене фене... И я вместе с ним — по направлению ветра.

Впрочем, чем ближе я был к своему дому, тем больше одолевали меня другие мысли. Ночевать в своей квартире мне было откровенно страшно. Да что там ночевать? Мне бы в этих стенах дожить, блин, до ночи. Сейчас ещё светло, а вот как я себя буду чувствовать часика через два, когда стемнеет? Подходил я к своему подъезду совсем медленно, прогулочным шагом, косился на окна. Ничего особенного не заметил — окна как окна, щелы, закрытые, немые после зимы (не скажу точно, после какой именно).

Старуха Липа (Олимпиада, стало быть), сидевшая на скамейке, посмотрела на меня исподлобья и, как мне показалось, мрачно. На моё “здрасьте” она процедила какое-то ядовитое: “Здрассете”. Ну, а раньше она что — улыбалась мне лучезарно и ласково говорила: “Доброго здоровьица, Василий Петрович”? Липа есть Липа, в мизантропию она погрузилась давно и безнадежно, ещё с московской Олимпиады.

Но предчувствие не обмануло меня. Когда я медленно, прижимаясь к стенам, со страхом поглядывая наверх, поднялся на свой этаж, то увидел, что дверь моя затянута крест-накрест теми же красно-белыми лентами, что и место боя в Петровском переулке, а замок опечатан. Я вздохнул почти с облегчением. Ну вот, добрались и до меня, приходили с обыском. Теперь посадят. Зато уже не надо будет ежечасно, ежеминутно ломать голову над тем, что же мне дальше делать. Но тут я заметил, что полоска бумаги с печатями кольшется от сквозняка. Я прищурился в полумраке лестничной клетки и увидел, что замок-то раскурочен. И судя по вмятине под замком, которую я тоже не разглядел в первый момент, это сделал вовсе не слесарь ЖЭКа, — дверь, скорее всего, выбили ударом ноги (я так и не удосужился поставить железную). Гм, теперь менты так приходят с обыском?

Я спустился на пролёт ниже, перегнулся через перила в надежде увидеть, не торчит ли на своей площадке Галя. У неё можно было бы узнать, что здесь происходило. Но её, по закону подлости, не было, когда надо. Звонить же к ней и расспрашивать мне не хотелось: меня тошнило от одного вида её сожителей. Я вернулся к двери.

Однако что же мне делать? Войти в квартиру я не могу — дверь опечатана. Но почему, собственно, не могу: не от меня же они её заклеили? Я оторвал ленты, печати, толкнул дверь. Она легко подалась. Я вошёл и тут же споткнулся обо что-то. Ботинки, что ли? Вроде бы я их не разбрасывал. Я нашарил на стене выключатель и зажёл свет.

В квартире был неописуемый разгром. Под ногами у меня была не только обувь, но верхняя одежда и шапки: кто-то просто смахнул всё с вешалки. В открытую дверь из прихожей в комнату я увидел царящий и там хаос. Книжные полки пустовали, а книги вповалку, одни в виде вееров, другие в виде архитектурных руин — фронтонов, антаблементов и колонн — громоздились на полу. Поверху они были щедро усыпаны фотографиями и сотнями страниц моих рукописей, как же я теперь их, выброшенных из разных папок, соберу? Разноцветным цыганским табором разлетелось по комнате содержимое платяного шкафа: рубашки, брюки, трусы, майки, носки... “Как много ношеного, стыдно!” — непроизвольно подумал я. Тут же пенились и постельные принадлежности, вытряхнутые из недр задранного ложем вверх дивана. Я сделал шаг вперёд и увидел письменный стол, мрачно зияющий пустыми прямоугольниками выдернутых ящиков. И (у меня заныло под ложечкой) компьютер с вырванным сердцем — жёстким диском...

Между тем, середина комнаты, где лежал, нацелившись в меня ножками, стул, как-то странно пустовала. В наступающих сумерках мне показалось, что я вижу на ковре какие-то белые линии. Я щёлкнул выключателем и содрогнулся. Эти были обведённые мелом контуры человеческого тела. Как на асфальте в Петровском. А в центре мелового абриса — большое бурое пятно, засохшая кровь. Рядом с опрокинутым стулом валялись свёрнутые

жгутом полотенца, тоже в крови. Трясущейся рукой я нащупал другой стул и сел, точнее, рухнул на него. Господи, кого здесь мучили и убивали? Юлию Безносову? Рисунок мелом напоминал очертания женского тела, хотя наверняка сказать было трудно.

Сколько я ни бегал от смерти, случившейся у меня на пороге, она всё равно переступила порог.

Я сидел, повесив голову, посреди свалки, на которую выбросили мою жизнь. Да и не только мою: вот ещё плоско валяется чья-то. Я ходил, хорохорился, посылал наглые “эсэмэски”, а оказался на свалке с кровавыми тряпками. И ведь главный-то ужас был в том, что ничего, кроме этого, в моей жизни больше не было. С разлетевшихся по комнате фотографий на меня смотрело прошлое, перемешанное без всякой последовательности и смысла. Вот я в Степанакерте, в распахнутой у ворота “хэбэшке”, с автоматом. Солдат разгромленной спустя три года без единого выстрела Советской армии. А вот я на празднике в детском саду Городка геологов, в отвратительных белых чулках — девчоночьих, наверное. Мама нигде не смогла достать белые гольфы и купила эти чулки, а чтобы они на мне держались, пришла к моим штанишкам застёжки от своего пояса для чулок. Морда у меня на этом фото заплаканная: видимо, не просто переживал унижение. Вот я — студент с растрёпанной длинной шевелюрой, но с довольно беспомощным взглядом. А вот я на каком-то банкете (это уже цветная печать), шепчу что-то на ухо сидящей рядом бабе с бойкими глазами. А вот я, спеленутый, в детской коляске — как фараон в саркофаге. А это я на чых-то похоронах. А следующая фотография будет сделана на чых?

Спаси и сохрани! Вот так умрёшь — и никому не будут нужны эти фотки, рукописи, письма... Всё больше и больше я утверждался в мысли, что кровавый фарс, так грубо и неожиданно вторгшийся в мою жизнь, был не случайностью, а тем неизбежным изменением картины мира, что происходит на сцене при демонтаже декораций. Стоило не то чтобы уничтожить, а просто разворошить мой мирок, как я увидел кругом себя бездну. Людей могли убивать где угодно, даже на пороге моего дома, но, пока их не убивали в моём доме, пока вещи стояли, лежали, висели на привычных местах, сохранялась иллюзия, что я лично существую в каком-то другом измерении, нежели окружающий меня мир. На самом же деле я всегда существовал в этом мире, просто отгораживался от него шторками, занавесочками, книжными полками, компьютером, телевизором, работой, которая нужна кому-то за границей, но почти никому не нужна на родине. То, что случилось с Гарькавым и Шматко, происходило в нашей стране каждую минуту, и тысячи людей становились вольными или невольными свидетелями этого. Не думаю, что происходящее было им более понятно, чем мне сейчас. Этот абсурд давно стал реальностью. Я жил, пробираясь по ней закоулками, дворами, мосточками, один раз пробежал мимо трупа и решил не останавливаться, но вот споткнулся на узкой дорожке своей о два чемодана. Я их даже не трогал, но кто-то невидимый увидел, что я их увидел. И всё — этого было достаточно, чтобы кровавая реальность зацепила меня, как крючок спирали Бруно. Чем больше дёргаешься, тем сильнее он вонзается. Но рано или поздно нечто подобное происходит с каждым человеком, ибо жизнь — это не то пространство, которое можно постоянно обходить по краю: в какой-то момент неизбежно оказываешься в центре, незащищённый. Это словно фокус с тёмной комнатой: идёшь по ней, ощупывая стены, а потом вдруг зажигается свет, и ты видишь вокруг себя множество хохочущих рож.

И, точно в ответ на эти мысли, за моей спиной вдруг кто-то заревел в несколько глоток:

— Милиция! На пол! Руки на голову! Лежать, сука!

*(Окончание следует)*